ГЛЕБ СТРУВЕ

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1910-Х — НАЧАЛА 1920-Х ГОДОВ

MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE

STUDIES AND TEXTS

volume 1

edited by

Lazar Fleishman *Jerusalem*
Robert P. Hughes *Berkeley*
Simon Karlinsky *Berkeley*
John E. Malmstad *New York*
Olga Raevsky–Hughes *Berkeley*

BERKELEY, 1979

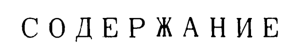
ГЛЕБ СТРУВЕ

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1910-Х — НАЧАЛА 1920-Х ГОДОВ

АРИОН. Сборник стихов (1918).
Георгий Маслов. АВРОРА,
с предисловием Ю. Н. Тынянова (1922).
Несобранные произведения Г. В. Маслова.
Вступительные статьи и комментарий
Г. П. Струве.

BERKELEY SLAVIC SPECIALTIES
Berkeley, 1979

Printed in the United States of America
ISBN 0-933884-08-7



СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ



Для меня сборник „Арион“, который мы здесь печатаем вместе с некоторыми другими материалами по истории Петербургской поэзии конца десятых - начала двадцатых годов этого века, связан с воспоминаниями ранней юности, и я позволю себе начать это вступление с них.

Осень 1915 года. Второй, переломный, год войны. Я – „выборжец“: так назывались тогда не члены Первой Государственной Думы, подписавшие в свое время „Выборгское воззвание“ (оно уже было делом прошлого), а ученики Выборгского восьмиклассного коммерческого училища в Петербурге (тогда уже Петрограде). Выборгским оно называлось потому, что находилось на Выборгской стороне, в Финском переулке – короткой, но широкой улице, ведшей к Финляндскому вокзалу. Осенью 1915 г. я был в восьмом классе этого едва ли не самого передового, „прогрессивного“ среднего учебного заведения в Петербурге, находившегося в ведении „либерального“ Министерства Торговли и Промышленности (министром тогда был С. И. Тимашев) и непохожего на казенные гимназии.

Мысль отдать меня и моих младших братьев в это училище принадлежала нашей матери, выросшей в семье с передовыми педагогическими взглядами. Отец наш, оставшийся, наоборот, до конца дней своих поклонником и сторонником класси-

ческого образования, скрепя сердце согласился, чтобы мы ходили в школу, где не только не преподавался греческий язык (греческий тогда уже не был обязателен и во многих гимназиях), но не считался обязательным и латинский, который, впрочем, преподавался факультативно в старших классах для тех, кто желал поступить в университет по окончании; и моим учителем латыни был К. А. Вогак, связанный в те дни с театорм В. Э. Мейерхольда и его журналом „Любовь к Трем Апельсинам". О нем, как об учителе, я сохранил благодарную память. После революции он оказался в эмиграции и жил, кажется, одно время на юге Франции, но я не помню, чтобы он где-либо печатался, и вскоре он куда-то сгинул.

Нашим директором был Петр Андреевич Герман, бывший преподаватель русского языка и словесности в другом, более старом и более известном коммерческом училище – Тенишевском, том самом, в котором учился Осип Мандельштам и о разных более или менее известных учениках которого писала в своих воспоминаниях о Мандельштаме Е. М. Тагер (позднее Тенишевское училище прославил другой его воспитанник, В. В. Набоков). Различий между Выборгским и Тенишевским училищами было много. Не было у нас процветавшего в Тенишевском футбола и вообще некоторого присущего этой школе „английского" духа: П. А. Герман строго-настрого запретил у себя футбол, так как еще будучи в Тенишевском училище был свидетелем несчастного случая, когда один ученик чуть не на смерть убился во время игры в футбол. Но едва ли не главная разница между нашими двумя училищами состояла в том, что в Выборгском с самого начала было введено совместное обучение. Тогда таких школ в России почти еще не было, и это-то – пожалуй, больше, чем что-либо другое – придавало ему „прогрессивный" дух. „Совместность" охватывала и воспитательский персонал, и в то время, как моим классом руководила классная воспитательница, В. М. Тихомирова, которая, между прочим, в свободный от уроков час после завтрака знакоми-

ла нас с современной русской литературой (помню, что в ее чтении я в первый раз услышал один рассказ Б. К. Зайцева), у моего брата Алексея, который был классом ниже меня, классным воспитателем был их преподаватель математики, Б. Г. Добровольский.

Если не с самого поступления в Выборгское училище (я поступил только в четвертый класс, целый год перед тем прожив в Крыму, в Олеизе, где поправлялся от разных последствий скарлатины и кори, которыми болел предыдущее лето; и с этим было связано другое окололитературное воспоминание: я лежал в земской больнице в городе Торжке, где моим доктором был д-р Черномордик, в молодости хорошо знавший Чехова как доктора), то во всяком случае с пятого класса моим ближайшим товарищем и соседом по парте стал Сережа Никольский, младший сын б. члена Первой Думы, кадета А. И. Никольского. Мы с ним более или менее одновременно начали писать стихи и делились ими за уроками. Оба мы увлекались современной поэзией и современным искусством вообще (мне было лет 14 - 15, когда я зачитывался Блоком и Белым и не пропускал ни одного номера „Аполлона"). Как раз в 1915 г. Никольский и я, мы оба написали статьи для специального номера нашей „Школьной Газеты", в редакцию которой мы оба входили. Этот номер вышел под названием „Светлый Луч" и продавался с благотворительной целью. Статьи наши были о нашумевшей тогда выставке кубистов „Трамвай В". Не так давно, в связи со своим 80-летием, я перепечатал свою статью, как свой дебют в печати, в нью иоркском „Новом Русском Слове" и парижской „Русской Мысли". Между мной и Никольским была одна большая разница: у него были большие способности к рисованию и из него мог выйти хороший художник (он погиб три года спустя после описываемого времени в гражданской войне, уйдя из военного училища добровольцем в Корниловскую армию), я же с грехом пополам натягивал тройки по рисованию – и то только потому, что наш добрый учитель рисования, А. А. Трейтчель, не хотел портить мне аттестат.

У Сережи Никольского был старший брат Юрий, бывший тенишевец, а в те годы студент историко-филологического факультета, однокашник и друг Тынянова и Оксмана, участник Венгеровского семинария, позднее напечатавший работы о Тургеневе и Достоевском и о Фете. Не помню уже точно, когда именно, но в какое-то время осенью или ранней зимой 1915 г. Юрий Никольский ввел своего брата и меня в кружок поэтов, связанный – не столько организационно, сколько своим личным составом – с Венгеровским семинарием и с Пушкинским обществом при университете. И в течение того учебного года мы с Никольским были на нескольких собраниях этого кружка. Они происходили обыкновенно на частных квартирах, и я познакомился с целым рядом тогдашних молодых поэтов и поэтесс, большая часть которых училась в Петербургском университете и на Высших Женских курсах. И я и Никольский читали там свои стихи. Насколько помню, мы были самыми молодыми участниками кружка: все остальные учились уже в высших учебных заведениях. Я слышал, что кружок потом как будто собирался на квартире родителей Е. М. Винавера, для меня Гени, моего товарища по приготовительной школе Н. Е. Бобиной на Песках, а потом моего однокашника по Оксфордскому университету. Он был немного моложе меня и в те годы учился в гимназии Мая. На тех собраниях, на которых я бывал, я Винавера не помню, и как поэта его не знал. Мое участие в кружке продолжалось недолго: окончив к лету Выборгское училище, я уехал сначала с отцом ненадолго в Англию, а по возвращении – на фронт, в качестве „земгусара“ (как их тогда называли) заведовать питательным пунктом Земско-Городского Союза для строительных рабочих на безымянной высоте в Лесистых Карпатах в Буковине. А, вернувшись в Петербург, вскоре после Февральской революции поступил добровольцем в армию, в гвардейскую конную артиллерию, жил в Красном Селе и в кружке, насколько помню, больше не бывал.

Многие участники кружка приняли участие в сборнике „Арион“ (этот сборник, вышедший в 1918 г., был помечен как пер-

вый, но остался единственным), и всех их я, хотя и в разной степени, помню. Только с двумя из них у меня были впоследствии личные встречи и переписка: как и я, они оказались в эмиграции и сыграли довольно заметную роль в зарубежной русской литературе и литературной жизни. Это — Владимир Ананьевич Злобин (1894-1967) и Николай Авдеевич Оцуп (1894-1958). Злобин еще в России сблизился с Мережковскими и вместе с ними эмигрировал, сначала в Варшаву, а потом в Париж, где жил у них как свой человек, исполняя как бы обязанности секретаря. Как будто единственная книга его стихов, под названием „После ее смерти", вышла в 1951 г. в парижском издательстве „Рифма", литературным руководителем которого был С. К. Маковский. Стихи в этой книге не носят дат, но едва ли среди них есть написанные еще в России. Одно стихотворение посвящено памяти Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, но самое название книги может относиться к последней, которая умерла в 1945 г. Уже посмертно, в 1970 г., в Америке, где он перед смертью преподавал один или два года в Канзасском университете, вышла книга Злобина „Тяжелая душа". Это — интересная попытка дать духовный портрет З. Н. Гиппиус на фоне ее жизни и отношений с Д. С. Мережковским и Д. В. Философовым Особенно много говорит Злобин об отношениях Гиппиус с Философовым и с . . . чёртом, приводя при этом довольно много неизвестного материала. В предисловии своем Злобин писал, что, несмотря на советы некоторых друзей, решил выпустить книгу „без единой купюры". Сейчас готовится издание этой книги на английском языке.

Николай Авдеевич Оцуп, сын известного петербургского фотографа и брат писателя Сергея Горного (1880-1948), учился в той же Царскосельской гимназии, что и Н. С. Гумилев, и был в последние годы жизни его очень близок к нему и к созданному им второму Цеху Поэтов. Первая книга стихов его, „Град", вышла в издании Цеха Поэтов в 1921 г., но объявлялась уже (без названия) на обложке „Ариона". Второе издание ее вышло в 1923 г. в Берлине после того как Оцуп выехал на Запад и остался там.

В эмиграции Оцуп оказался гораздо более продуктивен литературно, чем Злобин. Он участвовал в заграничном сборнике Цеха Поэтов, а в 1928 г. выпустил вторую книгу стихов „В дыму“ и поэму „Встреча“. Как и оба издания „Града“, эти книги быстро разошлись. Перед самой Второй мировой войной вышел в Париже, где Оцуп поселился с середины 20-х годов, роман „Беатриче в аду“. После войны были изданы объемистый „Дневник в стихах“ (1950) и драма в стихах „Три Царя“ (1958). Оцуп сделал также большой вклад в изучение русской литературы. Еще в 1928 г. он выпустил по-немецки книгу „Die neueste russische Dichtung“ – один из первых обзоров новейшей русской литературы на одном из западных языков. В 30-х годах он был редактором просуществовавшего относительно недолго (1930-1934) литературно-художественного журнала „Числа“ в Париже – одного из наиболее ценных зарубежных русских изданий, уделявшего много внимания не только литературе, но и другим искусствам и богато иллюстрированного: его можно назвать, toutes proportions gardées, эмигрантским „Аполлоном“. После войны Оцуп много печатался в газете „Русская Мысль“ и в журнале „Грани“. Последние годы своей жизни он преподавал русскую литературу в знаменитой Ecole Normale в Париже. В 1957 г. под его редакцией и с его предисловием и комментарием вышел по-французски том избранных стихов Тютчева, а перед самой смертью он подготовил „Избранное“ Гумилева со своим предисловием (книга вышла уже после его смерти, в 1959 г.). Парижская докторская диссертация Оцупа о Гумилеве осталась неизданной. После смерти Оцупа его вдова выпустила в 1961 г. два тома его стихов под названием „Жизнь и смерть“, с небольшой вступительной статьей проф. Андрэ Мазона по-французски и очерком К. Д. Померанцева об Оцупе; а также два тома статей Оцупа о литературе: „Литературные очерки“ и „Современники“, недостаточно пока оцененные. Когда началась Вторая мировая война, Оцуп поступил добровольцем во французскую армию. Во время отпуска в Италии он был обвинен в фашизме и просидел более полутора лет в тюрьме.

На стр. I8 в предпоследней строке следует вместо "фашизме" читать: "антифашизме"

Из тех участников „Ариона“, которые остались в России, наибольшей известности, как поэт, достиг Всеволод Александрович Рождественский (1895 - 1978). Сын священника, он, как и Оцуп, учился в Царскосельской гимназии и отчасти потому, может быть, рано подпал под влияние Гумилева и акмеизма. Позднее на него оказал несомненное влияние Н.С. Тихонов. Я припоминаю его в кружке уже в форме вольноопределяющегося. Некоторые его стихи были напечатаны в одном из сборников Цеха Поэтов. Свои первые сборники стихов – „Лето“ и „Золотое веретено“ – он, как и Оцуп, выпустил уже после гражданской войны, в 1921 г. Они были еще в русле акмеизма. Рождественский сразу обнаружил и талант и хорошую выучку. Но с годами к ним присоединился еще и большой дар приспособляться, что и дало ему возможность процвесть в советской поэзии. Об этой способности его дают хорошее представление разновременные критические статьи о нем в советских журналах. Сам Рождественский оставил небезынтересную книгу литературных воспоминаний („Страницы жизни“, первоначальная публикация в журнале „Звезда“). В этой книге дар приспособляться сказался еще больше. Первой женой Рождественского была Инна Романовна Малкина – как и я, „выборжка“, она была на два класса старше меня. И она и ее младшая сестра Екатерина, которой написал известное шуточное стихотворение Б.М. Эйхенбаум, тоже, если не ошибаюсь, бывали в кружке, но их выступлений там я не помню и стихов их не знал. Инна Малкина довольно скоро разошлась с Рождественским и вышла потом замуж за известного критика и одно время секретаря „Аполлона“, Валериана Чудовского. Они оба были арестованы в 30-х годах и погибли в Уфе в связи с делом польского Католического Центра. А Катя Малкина, напечатавшая в 30-х годах несколько ценных литературоведческих работ (в частности о Блоке), стала в 40-х годах жертвой грабителя, пробравшегося в ее квартиру под видом электромонтера.

Дмитрий Львович Майзельс (дат его рождения и смерти мне не удалось найти) припоминается мне как довольно мрач-

ный молодой человек, с резко выраженной еврейской наружностью, с лохматой черной шевелюрой. О его прошлом я тогда ничего не знал. Рождественский в своей книге воспоминаний говорит, что он до Первой мировой войны провел два года в Америке, „исколесил ее вдоль и поперек в лохмотьях бродяги и безработного", а „на родину привез кроме пустого кармана тетрадь переводов из Уитмэна и острую ненависть к буржуазному миру". В университет он, по словам того же Рождественского, попал „прямо от реала наборщика". О Майзельсе есть беглое упоминание в „Записных книжках" Блока под датой 20 сентября 1914 г. Блок записал: „. . . Майзельс – стихи. Языка нет – еврейская трагедия. Рассказывал интересно об Америке". Майзельс был единственным участником „Ариона", успевшим выпустить собственную книгу стихов еще до выхода альманаха. Эта его книга, под названием „Трюм", была объявлена как уже вышедшая (в 1918 г.) в списке изданий „Сиринги". Она фигурирует и в библиографии Анатолия Тарасенкова „Русские поэты XX века: 1900-1955", где сказано, что в ней было 48 страниц. Другие указанные в „Арионе" издания „Сиринги", тогда готовившиеся – „Тростник" Г. Маслова, „Сфинксы у Невы" В. Рождественского, а также „первая книга стихов" Н. Оцупа – так и не вышли. В 20-х годах Майзельс напечатал довольно много стихов в разных альманахах, в том числе в выпусках 2 и 3 редактировавшегося М. Кузминым и Анной Радловой „Абраксаса" (1922 и 1923), в литературно-художественном сборнике „Голодающим Поволжья" (Рязань, 1921) и в альманахе „Плетень" (Петроград, 1921). В советской литературе Майзельс, несмотря на свою „острую ненависть к буржуазному миру", не удержался. Рождественский о его дальнейшей судьбе умалчивает. Возможно, что он стал жертвой чисток. Библиография Тарасенкова дат рождения и смерти поэтов, к сожалению, не сообщает. Нет Майзельса и в „Словаре псевдонимов" И. Ф. Масанова, так как он, очевидно, псевдонимом не пользовался. Но был д-р Лев Яковл. Майзельс, который писал под псевдонимом „Врач", и возможно, что это был отец Д. Л. Майзельса.

Виктор Михайлович Тривус (1895-?), названный Рождественским самым талантливым в кружке, помнится мне таким, каким описал его Рождественский: „Широкоплечий, неладно скроенный, но крепко сшитый толстяк с мясистым потным лицом, с насмешливо, дерзко сверкающими глазами, балагур и весельчак". Карманы его, по словам Рождественского, всегда были набиты клочками бумаги, на которых он записывал „удачные строки". Он слыл поклонником Жюля Лафорга и Артюра Рэмбо и „грубовато переводил обоих", писал Рождественский. Из русских современников увлекался В. Нарбутом и М. Зенкевичем (в собрании последнего наверное сохранились его стихи). Я припоминаю Тривуса в студенческой тужурке, но вскоре он поступил в Петергофскую школу прапорщиков, а после революции очутился в Бухаре (Бухарой помечены некоторые его стихи 1917 г.). Есть сведения, что в 1918 г. он поступил в Красную Армию и дослужился в ней до комдива, а также, что он воевал в советско-польской войне 1920 г., во время которой пропал без вести. Последняя публикация его – в сборнике „Литературные вечера. Вечер первый" (Петербург, 1923).

Из тех участников кружка, которые не напечатали своих стихов в „Арионе", я помню: Ларису Рейснер, Николая Адуева и Михаила Лопатто.

Лариса Михайловна Рейснер (1895-1926), известная петербургская красавица, редактор в 1915-16 гг. журналов „Богема" и „Рудин", основанных ею вместе с ее отцом, проф. М. А. Рейснером (в них печатались некоторые участники кружка), с 1918 года жена известного большевика Федора Раскольникова, которого сопровождала в гражданскую войну в экспедицию против „белых" на Волге, а затем, как посла, в Афганистан, позже перешла на прозу, стала известной журналисткой, написала несколько книг очерков, в том числе о своем пребывании в Афганистане, а также о Германии, где она была в 1923 г. свидетельницей сорвавшейся попытки революции в Гамбурге, и о поездке на советские заводы и угольные копи. В 20-х годах произошло ее расхождение с Раскольнико-

вым и сближение с Карлом Радеком, который написал предисловие к посмертному изданию ее сочинений. Проживи она дольше (она умерла от тифа), она, вероятно, разделила бы участь Радека в сталинских чистках. А ее муж, Раскольников, стал невозвращенцем, находясь на советской дипломатической службе в Болгарии. О Рейснер см. многочисленные упоминания в советских энциклопедиях и ее собственные сочинения и письма, не так давно переизданные, а также воспоминания Н. Я. Мандельштам, которая пишет о ней интересно (О. Э. Мандельштам чуть было не уехал с Рейснер в Афганистан). Я помню белокурую красавицу Рейснер на одном собрании кружка на квартире ее родителей на Каменноостровском проспекте. Она читала свои стихи о французских революционерах 1789 года.

Николай Альфредович Адуев (1895 - 1950), настоящая фамилия которого была Рабинович, специализировался на юмористических стихах и на пародиях. Ему принадлежали в 20-х годах раешные представления „Петрушка-крестьянин" и „Победа над раем", а также книги стихов для детей и либретто для оперетт и музыкальных комедий. Некоторые из них (например, либретто „Жирофле-Жирофля") были написаны совместно с Арго (псевдоним А. М. Гольденберга).

Михаил Иосифович Лопатто (р. 1892?) был одним из старших пушкинистов в семинарии С. А. Венгерова. От него тогда на основании его рефератов (и работы о пушкинской прозе, напечатанной в 1918 г.) ожидалось много, но он, как литературовед, этих ожиданий потом не оправдал. Он не принял участия в „Арионе" потому, вероятно, что еще до того уехал в Одессу, а оттуда в конце 1919 или начале 1920 г. эмигрировал и поселился во Флоренции. Из русской литературы он в это время совершенно выпал, не сотрудничал ни в одном русском зарубежном издании. Но в 1959 г. его имя, неожиданно для всех, кто его раньше знал, выплыло: он издал в Париже свой сборник „Стихи". В этой книге было около 190 страниц. Стихи в ней носили даты от 1912 до 1959 года, но были напечатаны в полном хронологическом беспорядке. Всего больше в сборни-

ке стихотворений за годы 1917 - 1927 (больше 70). До 1917 г. всего 13 стихотворений; столько же – за 50 - ые годы; за 30 - ые и 40 - ые еще меньше. Через некоторое время после выхода этой во всяком случае не лишенной интереса книги мне удалось совершенно случайно, через его дальних родственников, связаться эпистолярно с жившим по - прежнему во Флоренции автором. Он как будто помнил меня смутно по петербургскому кружку, и мы обменялись несколькими письмами. Но довольно скоро эта связь порвалась. Лопатто жил тогда явно в полном отчуждении от русской эмиграции (об одном видном ее представителе, литературоведе, он писал с нескрываемым раздражением). Ему было бы сейчас 87 лет: весной 1969 г. он писал мне, что достиг 77 - летнего возраста. Возможно, что его уже нет в живых. Но в 1972 г. один американский славист, которому я сообщил его адрес, еще переписывался с ним.

Из членов кружка, выступивших в „Арионе“ , мне особенно хорошо запомнился Георгий Владимирович Маслов (1895 - 1920). Помню одно собрание на квартире на Васильевском острове, где Маслов тогда жил (должно быть, у Е. В. Гиппиус, сестры своей бабушки по матери). Довольно высокий, худой, с очень русским лицом, с русыми волосами, в студенческой тужурке поверх косоворотки, Маслов стоит, прислонясь к стене и медленным, размеренным голосом читает стихотворение о Баратынском – может быть, это был отрывок из тогда еще не написанной поэмы „Аврора“. Мне его стихи тогда же очень понравились. Помню также, что Маслов делал какие - то замечания по поводу читанной Адуевым пародии на „Евгения Онегина“. Маслов тогда считался в семинарии Венгерова одним из наиболее обещающих пушкинистов. У многих в нашем кружке был настоящий культ Пушкина. Как мне писал много позднее один близкий к этой группе и особенно к Елене Тагер человек, для Маслова и других участников Венгеровского семинария друзья и современники Пушкина были не людьми из далекого прошлого, а как бы их собственными современниками: они говорили о Василии Андреевиче (Жуковском) и Александре

Ивановиче (Тургеневе) так, как будто это были их личные знакомые. И недаром в одном стихотворении, написанном уже в Сибири и обращенном им к жене („Помнишь, Лена, первый вальс на бале?“) Маслов говорит, что, когда его друзья, „бокалы до края напенив“, увели его, то „Александр Иванович Тургенев, / Улыбаясь, заменил меня“. И в поэме „Аврора“ сказались пушкиноведческие увлечения Маслова: героиня поэмы – Аврора Карловна Шернваль, „соименница зари“, как назвал ее Баратынский. Об этой стороне поэмы хорошо написал в своем предисловии к ее изданию Ю. Н. Тынянов.

Дальнейшие – правда, довольно скудные – сведения о короткой жизни Маслова и о его творчестве читатель найдет ниже, во вступительной заметке к произведениям Маслова. Я же хочу сказать здесь кое-что и о жене Маслова, Елене Михайловне Т а г е р (1895 - 1964), печатавшейся тогда под псевдонимом Анна Регатт. Я встретил ее в кружке до того как она стала женой Маслова. Помню ее не так хорошо, как его. „Невысокая тоненькая блондинка, с локонами на висках“ – так описывала мне ее потом одна ее приятельница. И такой она мне смутно припоминается. На свадьбе их я не был – меня тогда не было в Петербурге. Но так случилось, что много, много позже у меня возник с Е. М. Тагер-Масловой непрямой контакт, и я способствовал напечатанию (сначала анонимно) ее воспоминаний об О. Э. Мандельштаме. Но когда в начале 60-х годов я задумал переиздание „Авроры“, и это дошло до сведения Е. М., она такого издания не захотела: у нее была надежда, если не на издание всех вещей Маслова, как ей хотелось в 1923 г., то хотя бы на переиздание „Авроры“ в России. Сама Тагер тогда, перед смертью, писала роман о Жуковском под названием „Светлана“, оставшийся, повидимому, незаконченным. Маслов несомненно сыграл роль в ее увлечении Пушкинской эпохой: они недаром замышляли написать совместно роман об Авроре Шернваль. Но еще до знакомства с ним любовь к этой эпохе привил ей ее преподаватель русской словесности в Стоюнинской гимназии Влад. Вас. Гиппиус. Есть даже сведения о том, что он был одно время в нее влюблен и что она отвеча-

ла ему взаимностью. Окончив Стоюнинскую гимназию – едва ли не лучшую женскую гимназию в Петербурге, первым директором которой был мой дед А. Я. Герд, а его преемником позже его сын В. А. Герд – Тагер поступила на Бестужевские курсы, сначала на естественно - историческое отделение, а потом перешла на славяно - русское отделение историко - филологического факультета. С Масловым она познакомилась либо в описываемом мною кружке, либо в Венгеровском семинарии.

Е. М. надолго пережила Г. В. Чуть ли не двадцать лет она провела в лагерях и в ссылке, в условиях, о которых только слабое представление дают некоторые строки ее поздних стихов. Первая неприятность постигла ее еще в 20 - х годах, вскоре после смерти мужа: она была арестована по обвинению в экономическом шпионаже в связи с работой в американском (т. н. Гуверовском) Комитете помощи голодающим в России (АРА) и выслана в Архангельск. Ссылка эта была довольно легкой; живя в Архангельске, Тагер - Маслова напечатала в сборнике Архангельского Общества краеведения очерк „Искусство и быт Севера“. В Архангельске же, где она служила в Лесострое, она вышла вторично замуж за некоего Н. А. Авдеева, эсера - кооператора. Брак этот оказался неудачным и был недолгим. Но от него у нее была вторая дочь, Мария. В середине 20 - х годов она вернулась в родной Петербург. В 1929 г. она выпустила книгу рассказов „Зимний берег“, позднее, в 50 - х годах, переизданную. Но лучший ее рассказ, „Попадья“ , напечатанный в 1928 г. в „Звезде“, туда не вошел. В этом рассказе сказался интерес Тагер к языку и быту крайнего русского севера, а вместе с тем и ее религиозная настроенность. Она выросла в смешанной русско - еврейской семье: отец ее был крещеный еврей, мать – русская, православная (позднее родители разошлись), и сама Е. М. с юности была верующей православной.

Самыми тяжелыми годами в жизни Е. М. оказались годы 30 – 50 - ые. В 1937 г. умерла восемнадцати лет ее дочь от Маслова, Аврора (Аруся): умерла в страшных мучениях, от гнойного воспаления печени. Для Е. М. ее смерть была тяжелым ударом. А в следующем, 1938, году она была снова арес-

тована – на этот раз по более серьезному обвинению: в шпионаже и причастности к „фашистской“ разведке. Е. М. была сделана очная ставка с якобы сознавшимся Бенедиктом Лившицем, известным поэтом: не то, мол, она его „завербовала“, не то он ее. По рассказу одной старой знакомой Е. М., которой удалось несколько раз навестить ее в последние годы ее жизни, с острой жалостью вспоминала Е. М. эту последнюю встречу с Лившицем, еле живым после избиений и пыток. Сам Лившиц в 1939 г. был „ликвидирован“.

Разбор дела Тагер длился всего десять минут. А приговор был: десять лет концлагеря. После этого – Колыма, Магадан и еще несколько лет поселения в Западной Сибири и в Средней Азии. В одном стихотворении тех лет Е. М. писала о Колыме – „колючем слове“.

В 1954 г. Тагер наконец вернулась под Москву, где первое время жила полу-легально у друзей, хлопоча о реабилитации. Таковая была „оформлена“ в 1956 г., и Е. М. вернулась в такой дорогой ей Петербург-Ленинград, о котором в Барнаульской следственной тюрьме писала в 1951 г.:

В скитаньи долгом и бесцельном –
Одна мечта, одна отрада:
Поцеловать в поту смертельном
Святые камни Ленинграда.

И успокоиться в могиле,
Не здесь, не на чужом погосте, –
Чтоб в ленинградской глине гнили
Мои измученные кости.

В Ленинграде-Петербурге она получила сначала комнату, а потом квартиру из двух комнат с ванной в Доме Писателей. В том же доме, в другом корпусе, жила А. А. Ахматова, и они в те годы очень подружились. После всего пережитого здоровье Е. М. было сильно подорвано: болезнь печени, высокое кровяное давление, затруднение с ходьбой из-за „замученных

костей“ (она ходила с палкой – литературной реликвией: палка эта когда-то принадлежала Андрею Белому).

Несмотря на тяжелое физическое состояние, Е. М. не теряла творческой энергии: писала стихи, роман „Светлана“, написала книгу об Афанасии Никитине (которая вышла уже после ее смерти), мечтала написать книгу о своих переживаниях в ссылке и говорила: „Я напишу две книги по истории русской интеллигенции. Начало и конец: первая треть XIX века, когда она вставала в полный рост, и 40-50-ые годы нашего века, когда она погибала в лагерях“.

Смерть пришла к Е. М. внезапно. Жившая с ней внучка, дочь ее младшей дочери, после выпускных экзаменов в школе уехала на две недели к матери в Свердловск. Медицинская сестра, приходившая к Е. М. каждый день делать уколы, в какой-то день не могла дозвониться. Когда это повторилось на следующий день, она попросила управдома отпереть квартиру. Е. М. нашли мертвой в кресле, с книгой в руках. Врачи пришли к заключению, что смерть наступила во сне. Это было около 14 июля 1964 г.

После Тагер остались стихи и рассказы (а может быть, и еще какие-то рукописи), которые заслуживают издания (некоторые стихи после ее смерти были напечатаны в русских зарубежных изданиях, в том числе хорошее стихотворение об Ахматовой – „Синеглазая женщина входит походкой царицы. . .“). Среди неизданных вещей Тагер был написанный в начале 30-х годов роман „Машинистка“, не пропущенный советской цензурой. Сюжетом его была борьба с т. н. „вредителями“.

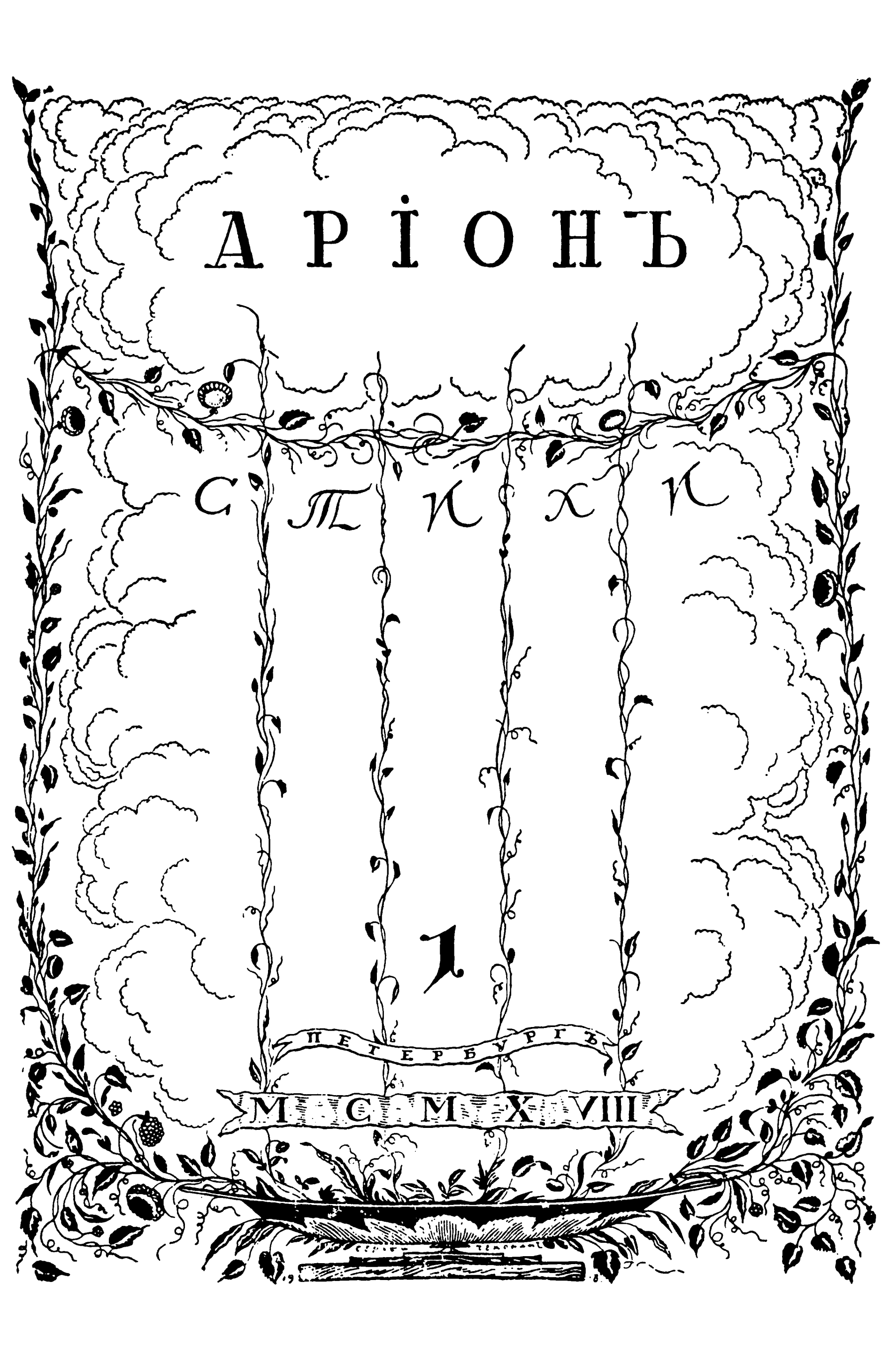
Нам известна пока только одна рецензия на „Арион“. Написана она была Н. С. Гумилевым. Это как бы его последнее „Письмо о русской поэзии“. Статья эта была напечатана в газете „Жизнь Искусства“ в 1918 г., вскоре после возвращения Гумилева из Англии. Она не была включена ни в посмертное издание „Писем о русской поэзии“, приготовленное Георгием Ивановым (хотя он жил тогда в Петербурге, она, пови-

димому, осталась ему неизвестна), ни в четырехтомник Гумилева под редакцией моей и Б. А. Филиппова, но в 1979 г. была перепечатана с моим послесловием в кн. 133 нью иоркского „Нового Журнала“. В своей статье Гумилев разбирает и оценивает по отдельности стихи каждого из поэтов „Ариона“.

Глеб Струве

АРИОН




АРІОНЪ
СТИХИ
1
ПЕТЕРБУРГЪ
MCMXVIII

АРІОНЪ

Владиміръ Злобинъ, Дмитрій Майзельсъ, Георгій Масловъ,
Николай Оцупъ, Анна Регаттъ,
Всеволодъ Рождественскій,
Викторъ Тривусъ

1

ПЕТЕРБУРГЪ
Издательство Сиринга
1918



Лишь я, таинственный пѣвецъ,
На берегъ выброшенъ грозою

„Аріонъ“. А. С. Пушкинъ.

Нѣтъ времени и нѣтъ пространства,
уйди совсѣмъ отъ суеты,
есть только твердость постоянства
и непорочность чистоты.

И тамъ, за кругомъ суетливымъ
душа почувствуетъ твоя
и надъ приливомъ и отливомъ
необходимость бытiя.

1917.

Не примирюсь, — не покорюсь
моей покорности смиренной.
Живу и жизни не боюсь
и буду съ нею — неизмѣнно.

Пускай обидитъ, не бѣда,
разочаруетъ и обманетъ,
но это сердце никогда
ее любить не перестанетъ.

1918.

6

М. Б.

Живи и вѣрь своей надеждѣ,
мнѣ сердца жаднаго не жаль.
Тоска и боль пройдутъ, какъ прежде,
и станетъ радостью — печаль.

А духъ досады, духъ унылый,
тревогу жизненныхъ невзгодъ
съ собой, какъ вѣтеръ легкокрылый,
безслѣдно время унесетъ.

Но ты останешься -- я знаю,
зажжешь, очищенная, вновь.
Тебя покорно принимаю,
о, безнадежная любовь.

1918.

7

З. Гиппіусъ.

Ни о чемъ не думалъ и жилъ, какъ въ башнѣ,
умереть хотѣлъ отъ своей руки,
но случилось что-то и я не вчерашній,
не боюсь ни людей, ни тупой тоски.

Не боюсь и вѣрю, что снова нуженъ,
и легко забыть о себѣ самомъ.
Я не знаю—лучше я сталъ, иль хуже,
отчего я правъ—я пойму потомъ.

И проходятъ ночи и дни безъ счета,
но въ тревогѣ радостной и простой
веселѣй и легче моя работа
и неутомителенъ мой покой.

1916.

Шкурное.

Все равно: если всѣ прикладомъ
раздробляютъ другъ другу грудь,
берегись отъ людского стада
отличаться хоть чѣмъ нибудь.

А не то въ этотъ часъ не даромъ
о тебѣ пожалѣетъ мать:
опрокинутъ однимъ ударомъ
упадешь и не сможешь встать.

Будетъ больно тебѣ и плохо,
отойдетъ побѣдитель глухъ.
Никакимъ покаяннымъ вздохомъ
не обманешь звѣриный нюхъ.

Только рядомъ качнется стебель,
промелькнетъ лошадиный хвостъ,
и застынутъ на черномъ небѣ
неподвижныя кольца звѣздъ.

1916.

Университетъ.

Въ одну соединивъ двѣнадцать крышъ,
всегда подъ окомъ зоркаго жандарма,
на берегу, столѣтній, ты стоишь,
безвредныхъ истинъ трезвая казарма.

Минувшій вѣкъ медвѣжьею душой
тебя терпѣлъ, какъ скучную причуду,
и гнетъ непережитый и простой
еще упорно смотритъ отовсюду.

Но ты привыкъ къ позвякиванью шпоръ,
къ суровости въ отеческомъ надзорѣ,
и равнодушенъ длинный корридоръ
и полумракъ твоихъ аудиторій.

Какъ въ колесѣ, по собственнымъ слѣдамъ
проходитъ жизнь, легко и безъ усилій,
и человѣкъ безсмысленно упрямъ
въ покорности величію и пыли.

1916.

Дмитрій Майзельсъ.

Россія.

Я умираю, зори мои, я весной умираю...
Я несла васъ жертвенно-алой охапкой,
Я любви моей блѣдное лицо утираю
Прострѣленныхъ дней грязно-кровавою тряпкой.

Я зарою васъ, зори мои, я васъ зарою
Не въ чистомъ полѣ—тамъ, гдѣ померкли синія очи...
Надъ вами ночь глумится страшной весною,
На волю мою коршуна выпустилъ Отчимъ.

Чернымъ пламенемъ, зори мои, дымомъ чернымъ
Затлѣютъ бурьяны надъ моимъ просторомъ могильнымъ,
Гарью и горечью сирыя души накормимъ—
Благословеніе въ грозѣ удобримъ достойнымъ и сильнымъ.

Мартъ 1918.

1917 годъ.

Неясная улыбка плавится
Въ звѣрино-красной толчеѣ...
Луна—собачья ли красавица—
Задумалась о Палачѣ?

Что нѣтъ и не было спасенія
Грызущимъ землю въ смертный часъ,
И лишь задернулось весеннее
Для дико помутнѣвшихъ глазъ.

Въ вѣкахъ глумились побѣдители,
Выпячивая животы,
И, задыхаясь, ненавидѣли
Рабы угрюмой нищеты.

Но бьютъ часы, сметая старое,
Позоромъ вскормленный уютъ.
Горятъ, горятъ знамена ярыя,
Жестокія сердца поютъ.

Не соціальнымъ ли радѣніемъ
Хмельны грядущія лѣта?
Сквозь кровь, и скрежетъ, и паденіе
Распятая ихъ жжетъ мечта.

Какъ рана Божества—пророчество,
Безумье изступленныхъ лиръ,
И міра огненное зодчество,
Рыданье и пресвѣтлый клиръ.

Ноябрь 1917.

Въ семьѣ.

Я раньше жила въ мірѣ,
Теперь живу въ семьѣ.
На стѣнѣ передвигаются гири,
Ничто не сдвинется во мнѣ.

Мужъ. Моя доля злая—
Улыбаться ровно, не знать тоски.
За рѣкой опять стрѣляютъ
Эти большевики.

Зачѣмъ запутался въ шторахъ
Заката коричневый глазъ?
Уже тишина набухла въ шорохъ,
Кровь потекла изъ язвъ.

Такъ звонъ взыгралъ по венамъ—
Остановитъ сердце страхъ.
Ослѣпительнымъ и сокровеннымъ
Махнули мнѣ въ небесахъ.

Ты гдѣ, кто ѣдкій пламень
На землѣ со мною пилъ?
Запекшимися губами
Шепни, что ты не любилъ.

Клинкомъ потускнѣвшей стали
День въ ножны ночи вошелъ.
Въ саду у насъ яблони затрепетали—
Для нихъ вѣтеръ темный тяжелъ.

1918.

Портретъ.

О. П.

Въ утро міра цвѣты окропляла роса,
Чтобъ райскія птицы пѣли тебѣ одной.
Въ юныхъ рощахъ замирали голоса...
Усталыхъ тысячелѣтій зной.

Еще вспыхивала въ нихъ о прекрасномъ боль,
Молились за госпожу свою рабы.
Но ушелъ съ закатомъ свѣтлый король,
Безпощаденъ желѣзный зѣвъ судьбы.

Въ заглохшемъ саду гудѣлъ вѣтеръ-вѣдунъ,
Золотые уборы срывая съ березъ,
И вылъ въ сугробахъ сѣдой бурунъ,
Поникшую душу злой заласкалъ морозъ.

Тогда ты минувшей на гулкую землю сошла,
Не припомнишь, не скажешь—за что?
Только пылью обдастъ людскою земная мгла,
Тишину твою жестоко зачтетъ,

Гдѣ застыла звенящая тяжесть вѣковъ,
Медлительную поступь стережетъ драконъ.
Сдавленнымъ крикомъ всколыхнется зовъ—
Для кого-то движенья твои законъ.

Но одна зажигаешь ты розъ костры,
Синее пламя льется, мерцая, въ твоихъ глазахъ.
Ты вся поблѣднѣла отъ дымной игры,
Пепелъ встряхнешь—холодный прахъ.

Такъ. Ничто не потянетъ къ ненужной мечтѣ,
Задохнулся въ клѣткѣ невидимый соловей.
Странно знакомо зарыться въ пустотѣ,
Праздничной грусти ослѣпнуть твоей.

Когда же вдругъ забудешь ты о мертвомъ снѣ,—
Бѣлыя купавы разсыплетъ твой дѣтскій смѣхъ,
Замученныя сердца очнутся въ первой веснѣ...
(Вѣтеръ сердитый сопитъ въ свой мѣхъ.)

Прискакали рыцари за тобой забытыхъ странъ,
Ихъ послалъ подневольный тебѣ властелинъ.
Ему послушенъ Великій или Тихій океанъ—
Ты слышишь всплескъ невѣдомый родныхъ глубинъ.

Затѣмъ ли закатъ въ багровомъ огнѣ былъ
И мученическій пріялъ онъ вѣнецъ,
Чтобъ вечеръ прижался къ синему небу,
Сіялъ тихій снѣгъ да звенѣлъ бубенецъ?

Чтобъ вспомнилась боль, какъ дѣтская шалость,
Земля—какъ святыня для набожныхъ глазъ...
Но вскрикнуло сердце и помѣшалось,
Смѣется и плачетъ, и шепчетъ сто разъ:

Не ты постучишь въ мой домъ нелюдимый,
Гдѣ утро лѣсное для веcенъ я вью—
Баюкаетъ вѣдьма въ бѣлыя зимы
Суровую нѣжность твою.

Ахъ, сентябрское солнце вовсе не лысина,
Что свѣтитъ умильно, но не грѣетъ...
Изумленной душѣ хлопанье крыльевъ послышалось,
Захмелѣла и стала наполовину добрѣе.

Въ концѣ концовъ, не все у нея украдено,
Хотя она и закупорена въ безтолковой бочкѣ,
И на днѣ пресмыкается равнодушная гадина —
Вмѣсто радостной дѣвочки въ красномъ платочкѣ.

Все же есть у нея смѣющаяся Японія,
Въ чайныхъ домикахъ пляшутъ милыя гейши,
Серебряныхъ драконовъ взлелѣяла гармонія,
Между утесами рыбачій парусъ скользитъ неслышно.

Быть можетъ, близокъ звонъ посмертнаго свиданія,
Ибо рано умерла любимая, хрупкая О-Теи,
И мертвыхъ листьевъ невыносимѣй шумное шуршаніе,
И въ райскихъ кущахъ застыли огромныя орхидеи.

Вотъ бѣсовъ захирѣли хари
И окровавленныя рыла...
Крадется сзади—онъ ударитъ,
Но тишина шаги зарыла.

Съ тобой ушелъ я или съ нею,
Хранимою лѣсною сѣнью,
Звѣздой взошедшей всѣхъ синѣе
Надъ глыбой мглы земли осенней?

А ты, въ моихъ глазахъ сгорая,
Внезапно сдѣлалась бѣлѣе,
Чѣмъ снѣжная мольба о раѣ,
Которою звенятъ лилеи.

Теѣ.

Тупой пятой въ асфальтъ вдавленный,
Гимнъ прорычу изъ-подъ автомобильныхъ шинъ.
Да не пріиметъ душу мою отравленной
Дыханіе снѣжныхъ вершинъ.

А вѣчное—развѣ не тамъ оно,
Гдѣ на тусклой плахѣ мѣдный свѣтъ?
Улыбнулась слабо и пламенно,
Роняя вишневый цвѣтъ.

Георгій Масловъ

Для страданій, горшихъ вдвое,
Возвратилъ васъ адъ кромѣшный,
О, святые и герои
Нашей Руси многогрѣшной.

Костыли и деревяшки,
Ноютъ раны въ день ненастный.
Вы свершили подвигъ тяжкій,
И прекрасный, и напрасный.

Тѣло немощно и хило,
Только голосъ тверже стали
Говоритъ о дняхъ печали,
О сраженьяхъ и могилахъ.

А другой молчитъ, заплакавъ,
Имъ взволнованный глубоко,
Какъ Улиссъ въ странѣ Феаковъ
Слушалъ древле Демодока.

Можетъ быть, чрезъ рядъ столѣтій
И о васъ разскажутъ дѣти,
И поэтъ, Гомеру равный,
Возвѣститъ вашъ подвигъ славный.

А пока—хвалите Бога
И за этотъ день осенній.
Сладость жизни сей убогой
Всѣхъ даровъ благословеннѣй.

Урожай сберемъ хорошій.
Гнется злакъ подъ тяжкой ношей
Въ полѣ ржи.
Уложи ее серпами,
Увяжи ее снопами,
Увяжи.

Вѣчно жить тебѣ, родная,—
Богъ—обиженнаго края
Вѣрный щитъ.
Отвратитъ онъ вражьи очи,
Окружитъ ихъ мглою ночи,
Окружитъ.

Дали. Зори. Край безкрайный.
Вѣрно будетъ урожайный
Этотъ годъ.
Межъ болотъ и бездорожій
Проведетъ угодникъ Божій
Мой народъ.

Лѣто прибыльное, здравствуй!
За весною плодородной
Чую вновь призывъ нечастый
Пѣсни легкой и свободной.

Зиму всю онѣ нѣмѣли
Подъ тяжелымъ темнымъ снѣгомъ,
Чтобы въ благостномъ апрѣлѣ
Солнце дало жизнь побѣгамъ.

И теперь шумящей нивой
Зрѣютъ подъ лазурью ясной.
Беззаботный и лѣнивый,
Не теряй часовъ напрасно,

Но почисти серпъ твой старый,
Вымети прилежнѣй гумна,
Чтобъ потекъ въ твои амбары
Зеренъ дождь золотошумный!

Все тѣ же длинныя прогулки
Со спутниками и вдвоемъ,
И поцѣлуи въ переулкѣ,
И грохотъ экипажей гулкій
За розовѣющимъ окномъ.

А попозднѣй, когда романсы
Мечтательно поетъ сестра,
И бабушкѣ свои пасьянсы
Раскладывать придетъ пора,

Мы медленно сжимаемъ руки
И длительно въ глаза глядимъ,
Какъ будто не было разлуки,
И ревность, и ночныя муки—
Растаявшій мгновенно дымъ.

И только бѣшенство заката
Спокойно таявшаго дня
Твердитъ, что близокъ часъ возврата,
Что все падетъ, все будетъ смято,
Что это сердце изъ огня.

Разлука. Слово: „Не надолго!"
Въ рукахъ измятые цвѣты,
А черезъ день нашъ домъ и Волга,
И только сонъ весенній—ты.

Опять безумье вдохновенья
И строгіе мои труды—
Стиховъ мучительныя звенья
И формулъ четкіе ряды.

Жизнь протекала между вами—
Ручьи стиховъ и цѣпи числъ,
Чтобъ полудѣтскими руками
Ты въ ней раскрыла тайный смыслъ.

Съ моей мечтой такъ странно схожій
Онъ жизнь пронзилъ, какъ острый лучъ;
Какъ формулы—онъ ясенъ тоже
И, какъ потокъ стиховъ,—онъ жгучъ!

И я опять собьюсь, считая,
И выроню перо изъ рукъ,
Когда волна волосъ густая
Мое лицо одѣнетъ вдругъ.

Іюльскимъ—ахъ!—іюльскимъ жаромъ
Дышали ночи нашихъ встрѣчъ—
И ты смогла однимъ ударомъ
Ихъ узелъ сладостный разсѣчь,

Чтобъ та стремительная сила,
Что таяла въ твоихъ рукахъ,
Струею яростной забила
Въ моихъ раскованныхъ стихахъ,

Чтобъ звѣзды въ небосклонѣ ясномъ
Сентябрскихъ ледяныхъ ночей
Дождемъ летѣли ярко-краснымъ,
Какъ сны о близости твоей.

Не предвидитъ сердце глупое
Дня свиданья, дня разлуки.
Развѣ гладилъ бы такъ скупо я
Эти маленькія руки?

Вѣрю, все жъ тебѣ припомнятся
Вечера шальнаго мая,
Лишь глаза опустишь, скромница,
Наши встрѣчи вспоминая,

Какъ, твои колѣни трогая,
Я пьянѣлъ, весной волнуемъ,
Ты же улыбалась, строгая,
Самымъ дерзкимъ поцѣлуямъ.

Николай Оцупъ.

Когда разсѣянный пріятно
Томлюсь чужими голосами,
Меня смущаетъ голосъ внятный
Ручья, разбитаго камнями.

Въ напѣвѣ томъ меня плѣняютъ
Такія ноты первой силы,
Какія только повторяютъ
Вола натянутыя жилы.

И мнѣ любима въ ясныхъ нотахъ
Побѣда творческихъ усилій,
Когда пастухъ въ лѣсу поетъ ихъ,
Не помня, гдѣ онѣ родились.

У St. Sulpice.

Часы съ собора уронили
Мѣдные звоны въ воздухъ,
Жалобой зова оттѣнили
Мягко-лѣнивый роздыхъ.

Лучъ на крышѣ дома напротивъ
Рождаетъ многотѣнье...
Часъ... День, прилежно отсубботивъ,
Встрѣчаетъ воскресенье.

Ты неизбѣжно самъ перемѣнишь
Костюмъ для маскарада,
Маску какую-нибудь надѣнешь,
Выберешь два наряда.

Одинъ на утро, другой на вечеръ,
Привыкаешь къ смѣнѣ парной,
Вѣдь мѣняетъ дыханье вѣтеръ,
Мѣняется листъ календарный.

И я мѣняюсь съ днемъ идущимъ
Подъ новой дневною ношей,
Одинъ и тотъ же въ самомъ сущемъ—
Въ любви моей хорошей.

Туннель.

Мерцаютъ лампы подземной ночи,
Въ просвѣтахъ желтыхъ туманъ дымитъ,
Сверломъ упорнымъ сверлитъ рабочій,
Съ нимъ другъ-машина и динамитъ.

У пекла голыхъ рабочихъ спины,
Подъ ними мощный столапый спрутъ,—
Онъ жретъ каменья, взрываетъ мины,
Тамъ сталь и мясо, огонь и трудъ.

Когда же скалы въ глухомъ отпорѣ
Нутрами ухнутъ,—въ отвѣтъ тогда
Обманомъ взятое воетъ море,
И сверху каплетъ сильнѣй вода.

Но тамъ за адомъ бѣгутъ, отстроясь,
Подъ яркимъ свѣтомъ струи дорогъ,
Подвозитъ рати громоздкій поѣздъ,
Трубя о жизни въ чугунный рогъ.

И люди рвутся къ мечтѣ проклятой,
Подъ моремъ скоро рука и сталь
Огнемъ, машиной, сверломъ, лопатой
Къ подземной дали приблизятъ даль.

И, мощью грозной очарованъ,
Потомокъ тружениковъ-рабовъ
Не вспомнитъ даже, что путь основанъ
На прочныхъ шпалахъ чужихъ гробовъ.

Метрополитэнъ.

Бѣлымъ отливаютъ изразцы въ туннелѣ,
Стрѣлки-указатели, станцій имена,
Яркія рекламы, шляпокъ акварели,
Контролера въ синемъ важная спина.

Поѣздъ, какъ игрушка, стынетъ полминуты,
Дверцы раззѣваютъ полминуты рты,
Шляпки, лица, руки быстро промелькнутъ
И замелькаютъ лампы, полутьма, мосты.

Глазъ едва привыкнетъ къ длиннымъ корридорамъ
Съ желтыми огнями на сырой стѣнѣ,—
Вдругъ съ окна надъ Сеной сумасшедшимъ взоромъ
Выглянетъ Парижъ, какъ солнце въ сѣромъ снѣ.

Снова полумракъ желтѣющій огнями,
Поневолѣ ближе пассажиръ-сосѣдъ—
Вотъ сосѣдка-дама сѣрыми глазами
Смотритъ лампіонамъ уходящимъ вслѣдъ.

Это грусть? Откуда? Какъ она въ вагонѣ?
Тамъ, гдѣ мощь и сила душатъ скорби хмѣль,
Тамъ, гдѣ воля къ жизни паровозы гонитъ,
Гдѣ могучій разумъ вымостилъ туннель?

Кто въ математически-разсчитанномъ стремленьѣ,
Въ сильномъ и увѣренномъ бѣшенствѣ колесъ,
Въ утвержденно-ясномъ метрополитэнѣ—
Кто ее забросилъ, кто ее завезъ?

Шахматы.

Истинное въ мірѣ
Дорого и свято —
Шестьдесятъ четыре
Маленькихъ квадрата.

Выстроены гномы,
Короли и туры,
Намъ ли незнакомы
Тонкія фигуры?

Деревяннымъ дѣтямъ
Мысли и забавы
Мы мѣста размѣтимъ
На квадратахъ славы,—

Пусть одинъ другого
Съ маленькой арены
Сниметъ, сдвинетъ снова
Въ танцѣ перемѣны.

Радостно и чудпо
Видѣть воплощенье
Мысли обоюдной
Въ жизни и движеньѣ.

Слонъ.

Вотъ глину мнетъ рука скульптора,
Еще, еще, почти рожденъ
Тяжелый, добродушный слонъ,
И онъ уже участникъ спора,
Хотя смиряться обреченъ.
Зеленый хоботъ загибая,
Создатель молвитъ: „Запятая“,
Тогда обиженный слегка
Противникъ требуетъ клыка,
И вдохновенная рука
Нетерпѣливца дополняетъ.

Дѣву Святую писалъ богомазъ,
Умеръ, и ликъ оставался безъ глазъ.

Кто-то для церкви купилъ и сказалъ:
„Тотъ, кто захочетъ, увидитъ глаза“.

Въ церковь вошла молодая жена,
Сердце измѣной казнила она.

Видитъ тоскливо невидящій взглядъ:
Дѣвы незрячія очи горятъ.

Кто-то знакомый, такой же слѣпой,
Съ горечью горькой и съ болью тупой.

Радость нашла молодая жена
Въ бѣлыхъ и страшныхъ глазахъ полотна.

Анна Регаттъ.

Когда надъ темною деревнею
Гроза побѣдная гудетъ,
Иконы благостныя, древнія
Ея единственный оплотъ.

Отъ ветхихъ дѣдовъ, отъ родителей
Дошли до нашей нищеты
Царевенъ, иноковъ, воителей
Прямыя, смуглыя черты.

И ликъ Солунскаго Димитрія
Лѣсного цвѣтика милѣй,
И Божья Матерь Одигитрія
Благоуханнѣе лилей.

И кто въ сомнѣньяхъ тяжкихъ мучится,
Зоветъ утраченный покой —
Тѣхъ исцѣляетъ Троеручица
Чудесно-щедрою рукой.

И чья любовію палимая
Душа зажжется навсегда,
Тѣмъ Купина Неопалимая —
Лазурно-алая звѣзда.

Они замолятся, заступятся
За стадо бѣдное свое —
И занесенное притупится
Карающее остріе.

Свѣте Тихій
Святыя Славы!

Синій ладонъ
Струится долу,
Свѣтъ вечерній
Сіяетъ въ окнахъ.

Страстотерпецъ,
Святый Крѣпкій,
Святый Безсмертный,
Спаси, помилуй
Слабыхъ, унылыхъ,
Скорбящихъ въ работѣ тяжелой
Скорбью тѣлесной.

Свѣтъ небесный,
Смири мнѣ сердце,
Спаси, помилуй
Силой чудесной!

Стадо вернулось съ ревомъ и стономъ,
Пылью покрытое липко-рыжей.
Тянетъ гармоника вой изступленный,
Танецъ безстыжій.

Смуглыя бабы, мѣрно гуторя,
День свой окончили, полный шума.
Господи, сколько въ Россіи горя,
Страшно подумать!

Сколько проѣхали мы селеній,
Избъ простыхъ, рѣзныхъ и узорныхъ,
Старыхъ церквей, волостныхъ правленій,
Въѣзжихъ и сборныхъ.

Каждый домъ—что темная келья,
Каждое сердце въ саванъ одѣто.
Нѣту въ Россіи, нѣту веселья,
Радости нѣту.

Я надышалась туберозой,
Впитала въ душу сладкій ядъ.
Нѣмой и жалобной угрозой
Глаза усталые горятъ.

О, дѣвушки, какая сила
Въ изломѣ вялыхъ лепестковъ!
Я такъ же бѣлый плащъ носила,
Не знала пламенныхъ оковъ.

Но чары нѣтъ неотразимѣй
Мерцаній яда въ томъ саду,
Куда зашла тропой незримой,
Гдѣ я была... куда приду...

...И я ужъ не хорошѣю,
Поймавъ внимательный взглядъ,
Не падаютъ кудри на шею,
А гладко, гладко лежатъ.

Все такъ же тонки руки
Подъ кружевомъ рукава,
Но низко подъ гнетомъ скуки
Склоняется голова.

Какъ быстро ходитъ иголка
По бѣлому полотну,
Какъ много яркаго шелка
Уходитъ за ночь одну.

Спокойна душа нѣмая,
Спокоенъ уставшій взоръ.
Сижу. Молчу. Вышиваю
Ненужный, яркій узоръ.

Всеволодъ Рождественскій.

Игрушечный магазинъ.

Усталый, слегка печальный,
Остановишься невзначай,
И вдругъ—за стѣной зеркальной
Сверкающій дѣтскій рай.

Такого не снится даже
Во снѣ подъ Рождество—
Все равно всего не разскажешь,
Не пересчитаешь всего:

Велосипедные гонщики,
Американскій экспрессъ,
Крахмальныя панталончики
Въ батистъ разодѣтыхъ принцессъ,

Глянцевитыя, пестрыя книжки
(Самый волшебный разсказъ!)
И веселые мохнатые мишки
Съ бусинками вмѣсто глазъ.

Томительно сгорая,
Сегодня, какъ и вчера,
Прильнула къ преддверью рая
Раскраснѣвшаяся дѣтвора,

А тамъ—монеты въ ящикъ
Смахнувъ и зѣвнувъ на часы,
Разсматриваетъ прикащикъ
Приплюснутые носы.

Въ дѣтскомъ скверѣ.

Бѣжитъ, бѣжитъ панелью звонкою, комочекъ лающій дразня,
И машетъ пухлою рученкою, завидя издали меня.

Не поспѣваетъ нянька, возится, зѣвотой утопивъ тоску.
(—„Сходила-бъ въ церковь, грѣховодница, да напилась бы кофейку!“—)

Но сѣроглазая былиночка веселый ускоряетъ скокъ.
(—„А гдѣ, а гдѣ моя корзиночка, моя лопатка и совокъ?“—)

За вкусно пахнущими досками, гдѣ густы желтые цвѣты,
Взмахнувъ, какъ бабочками, косками, упругій обручъ гонишь ты.

И вотъ забыто невозможное (какъ будто сердце не болитъ.)
— Сейчасъ мы сдѣлаемъ пирожное, англійскій разсыпной бисквитъ,

На деревянныя тарелочки разложимъ кукольнымъ гостямъ,
И пусть идутъ другія дѣвочки на кошкино рожденье къ намъ.

Передникъ съ бѣлыми горошками не уставая теребить,
Болтай обтянутыми ножками, мѣшай намъ съ няней говорить.

Прижмись ко мнѣ горячей щечкою, веселый лепестокъ огня,—
Быть можетъ дочки съ мягкой щечкою не будетъ вовсе у меня.

Высокой радости, ты знаешь, не дано,
А есть какая-то медлительно тупая,
Считающая каплями вино
И тяжело идущая на дно,
Давно себя не понимая.

Такъ вытяни потуже сѣти жилъ,
Чтобы смычку отвѣтствовали стономъ,
Чтобы приснилось павшему безъ силъ,
Какъ мутный жемчугъ каплями застылъ
Въ прозрачности затоновъ.

Листопадъ.

Плещутъ крылья памяти надъ нами...
Какъ забыться, какъ тоску избыть,
Золотое, ледяное пламя
Поблѣднѣвшими губами пить!

Золотомъ осеннимъ ниспадая,
Загорится въ холодѣ лучей,
Загорится осень молодая,
Молодости нашей холоднѣй,

И, томясь подъ блеклыми лучами,
Буду цѣловать я въ забытьи
Жадными, холодными губами
Пламенные лепестки твои.

Видѣніе.

А. Дубянскому.

Безумный цвѣтокъ Іудеи,
Цвѣтокъ, обагрившій поля,
Ты вновь выростаешь, бѣлѣя
Лѣнивымъ изгибомъ стебля.

Подъ вѣтромъ торжественной страсти
Колышется тѣло твое,
И римскіе коршуны власти
Надменное клонятъ копье,

И Отрокъ невѣдомый снится
Твоей опаленной мечтѣ,
И странная бѣлая птица
Въ горящей стоитъ высотѣ.

Хотя бъ гроза скорѣй настала
Иль на войну бы увели...
Лежишь, измученный и вялый
Въ углу, и голова болитъ.

И мухи сонныя, и блеклый
Букетъ сирени на окнѣ,
И пыльныя на солнцѣ стекла,
И скатерть грубая въ винѣ.

Покой. Нависшія картины,
Нависшій низко небосклонъ,
И злое имя Антонины,
Всѣхъ обольстительнѣй именъ.

1915.

Любовь въ солдатскомъ вкусѣ
Ахъ, какъ грѣшно смѣяться!
Жила ты въ Старой Руссѣ,
Потемкинская, двадцать.

О, двухэтажный домикъ,
Гдѣ, въ бѣлое одѣта,
Въ бездѣльи и истомѣ
Ты проводила лѣто.

Мечта о дальнемъ графѣ,
Объ итальянскомъ зноѣ,
И вѣеръ фотографій
На выцвѣтшихъ обояхъ...

Подругъ своихъ умнѣе,
Насмѣшливая въ мѣру,
Плѣняла стройной шеей
Армейскихъ офицеровъ.

Но лишь меня любила
Любовью непреклонной
За выправку и силу,
За желтые погоны.

И, вѣря въ Божью милость,
Не думала о смерти,
И, помню, простудилась
На полковомъ концертѣ.

Погибла, молодая...
Ахъ, ничего не значитъ —
Пусть тетка изъ Валдая
Одна, крестясь, поплачетъ.

1916.

Взводный.

В. Быховскому.

Когда подходитъ ужинъ жирный,
Неся съ собой тяжелый сонъ,
Ты благодушествуешь мирно,
Льстецовъ ватагой окруженъ.

А завтра рано утромъ снова
Вести ряды на плацъ готовъ,
Эстетикъ строя разсыпного,
Забористыхъ филологъ словъ.

Въ часы настойчивой работы
Пьянитъ команда какъ вино—
Искусство перестроить роту
Немногимъ избраннымъ дано.

Немногимъ избраннымъ понятно
Взаимодѣйствіе частей,
Когда шинелей сѣрыхъ пятна
Плывутъ вдоль зелени полей...

Хрипишь до хмураго заката,
На робкихъ нагоняя страхъ,
И жилки вздухшія въ бѣлкахъ
Окрашены денатуратомъ...

На лобъ неприхотливый твой
Разбойничья свисаетъ челка,
И, какъ у матерого волка,
Взглядъ неприступный и сухой.

Но славно службу вспоминать
Ты будешь за попойкой звѣрской,
И бабъ разборчивыхъ плѣнять
Нашивкой унтеръ-офицерской.

И мнѣ тогда милѣе ты,
И Разинъ, твой веселый прадѣдъ,
Когда угрюмыя черты
Усмѣшка русская разгладитъ.

1916.

На смерть Кэтъ.

Кэтъ умерла въ началѣ мая,
Ей было восемнадцать лѣтъ.
Какъ жаль! Веселая такая,
Безпечная такая Кэтъ.

Въ письмѣ короткомъ и усталомъ
Писала: „Надоѣлъ Кавказъ“...
А черезъ мѣсяцъ взволновала
Внезапно телеграмма насъ.

И въ Петергофской Третьей Школѣ,
И въ императорскихъ садахъ
Намъ стало страшно поневолѣ,
Не знавшимъ, что такое страхъ.

Топографическія съемки,
Безпечное, какъ сонъ, житье,
Но въ каждой встрѣчной незнакомкѣ
Я видѣлъ, бѣдную, ее.

. . . .

Кэтъ милая! Въ какія выси
Унесена твоя душа?
Должно быть, многіе въ Тифлисѣ
Твердили: „Жаль. Какъ хороша!“

Должно быть, многіе вздыхали
Въ сухія ночи надъ Курой,
И томикъ Лермонтова брали
Въ прогулки длинныя съ собой.

1917.

Засѣданіе

Совѣта Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ

Уже съ утра, собравшись впопыхахъ,
Сидятъ, и рѣзкій разговоръ неистовъ,
Въ поддевкахъ, гимнастеркахъ, пиджачкахъ
Испытанныхъ ряды соціалистовъ.

Топорщатся солдатскіе усы,
Сердито сдвинуты на лобъ фуражки,
Когда подъ грузомъ обвиненій тяжкихъ
Колеблются Ѳемидины вѣсы.

Но слаще что, чѣмъ резолюціи ядъ
И грубая, какъ у Барбье, Свобода!
И въ честь Его Величества Народа
Неистовствуетъ пензенскій Маратъ.

Исторіи причудлива канва,
Побѣждена неебходимость злая...
И что всѣ иностранныя слова
Предъ ощущеньемъ завтрашняго рая!

Крѣпость Кушка,
1918.

Изъ дневника Бухарскаго похода.

...Перемѣнѣ мѣста радъ,
Грозный страхъ вселивъ въ буржуевъ,
Поздно выступилъ отрядъ
Изъ уютнаго Чарджуя.

Заскрипѣли тормаза...
Изъ-подъ спущенныхъ вуалей
Любопытные глаза
Насъ съ опаской провожали.

Ахъ, не бойтесь! Все равно—
Вѣдь теперь мы не отъ міра.
Будемъ завтра пить вино
Въ древнихъ погребахъ эмира.

Будетъ завтра чудный видъ
На сады Святой Бухары,
Буду завтра я убитъ
Пулей изъ берданки старой.

Новая Бухара,
1918.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Владиміръ Злобинъ.

Дмитрій Майзельсъ.

Георгій Масловъ.

Николай Оцупъ.

Анна Регаттъ.

Всеволодъ Рождественскій.

Викторъ Тривусъ.

Издательство Сиринга.

Дмитрій Майзельсъ. Трюмъ. Стихи. П. 1918. Ц. 1 р. 25 к.

Аріонъ. Сборникъ стиховъ. I. П. 1918. Ц. 3 р. 50 к.

Георгій Масловъ. Тростникъ. Стихи *(готовится)*.

Николай Оцупъ. 1-я книга стиховъ *(готовится)*.

Всеволодъ Рождественскій. Сфинксы у Невы. Стихи *(готовится)*.



К БИОГРАФИИ Г. В. МАСЛОВА

Георгий Владимирович Маслов родился 22 мая (4 июня) 1895 г. в Симбирске. Отец его служил тогда в армии в чине поручика. Семья Масловых была из столбовых дворян, записанных в бархатной книге Тамбовского дворянства. Мать Маслова, Любовь Николаевна Эггерс, была дочерью крупного московского коммерсанта-меховщика, поставщика двора императрицы Марии Федоровны. Его жена, бабушка Г. В. по матери, была родной сестрой Елены Васильевны Гиппиус, матери Владимира Васильевича (1876 - 1941) и Василия Васильевича (1890 - 1942) Гиппиусов. Оба были поэтами. Старший печатался под псевдонимами Вл. Бестужев и Вл. Нелединский и был также известным педагогом, преподавателем русской литературы в Тенишевском училище и в гимназии Стоюниной. Одним из его учеников был Осип Мандельштам, который посвятил ему в своей книге „Шум времени“ очерк „В не по чину барственной шубе“. Младший брат был известным литературоведом, автором книги о Гоголе и других ценных работ по русской литературе.

Окончив Первую гимназию в Симбирске, где его отец по выходе в отставку служил в Крестьянском банке (позднее он был преподавателем военного училища в Ташкенте и умер там в 1934 г.), Г. В. Маслов поступил на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета и поселился на Васильевском острове у сестры своей бабушки по матери. В

1913 г. он вошел в знаменитый Пушкинский семинарий, которым руководил С. А. Венгеров. С этого же времени началась его близкая дружба с молодыми пушкинистами, особенно с Ю. Н. Тыняновым, В. Л. Комаровичем, Ю. Г. Оксманом, С. М. Бонди и Н. В. Яковлевым. В 1915 и 1916 гг. Маслов прочел несколько докладов в Пушкинском семинарии. Он был также одним из организаторов студенческого Пушкинского общества. В 1916 г. во втором томе „Пушкиниста" была напечатана написанная Ю. Г. Оксманом справка о Маслове, а в 1917 г. статья Г. В. „Новое о стихотворении Пушкина 'Послушай, дедушка, мне каждый раз . . .'" появилась в выпуске XXVIII „Пушкина и его современников". Еще одна работа Маслова о Пушкине была опубликована посмертно в 1926 г. в сборнике „Пушкин в мировой литературе": „Послание Лермонтова к Пушкину в 1830 году".

В свои университетские годы Г. В. через Вас. Вас. Гиппиуса сблизился с петербургскими поэтами, примыкавшими к Цеху Поэтов и к журналу „Гиперборей". Он бывал также в салоне З. Н. Гиппиус и сотрудничал в журналах Рейснеров „Богема" и „Рудин".

6-го ноября 1916 г. Маслов женился на Елене Тагер. Шаферами на свадьбе были поэт В. А. Злобин и литературовед В. Л. Комарович. На лето 1917 г. Масловы уехали к родителям Г. В. в Симбирск. Осенью Г. В. должен был вернуться в Петербург сдавать государственные экзамены, но увлекся общественной работой (после Февральской революции он сблизился с кадетами) и остался в Симбирске. Весной 1918 г., во время чехословацкого восстания на Волге, Маслов примкнул к антибольшевицкому движению, поступил в армию и ушел с нею на восток, через Бугульму и Уфу, до Омска. Уже после того как он покинул Симбирск его жена родила дочь, которая была названа Авророй в честь Авроры Шернваль. В отличие от героини масловской поэмы, она скончалась в ранней молодости.

В Омске, где были написаны некоторые из печатаемых в этом томе стихотворений, в том числе не публиковавшийся никогда цикл „Путь во мраке", посвященный знакомой Маслова и по Симбирску и по Петербургу В. М. Кремковой, Г. В. служил рядовым

в охране адмирала Колчака. Живя в Сибири, он печатался в тамошних газетах и журналах („Сибирская Речь“, „Наша Газета“, „Вперед!“, „Отечество“ и др.). При отступлении из Омска он заболел возвратным тифом и заразился сыпным тифом; как тяжелобольной, он был снят с поезда и положен в городскую Красноярскую больницу, где и скончался 14 марта 1920 г. Как отмечал Ю. Г. Оксман, смерть избавила Маслова от ареста и возможного расстрела. В газете „Красноярский Рабочий“ был напечатан некролог его, подписанный Всеволодом Ивановым. Это был не известный советский писатель, будущий серапионовец, а Всеволод Никанорович Иванов, поэт, автор „Поэмы еды“. Другой некролог Маслова был написан позже Н. В. Яковлевым, товарищем Маслова по Пушкинскому семинарию, и под названием „Рано погибший поэт“ напечатан в „Вестнике Литературы“ (Петроград, 1920, № 7). Био-библиографическая справка о Маслове появилась в книге известного библиографа Н. В. Здобнова „Материалы для сибирского словаря писателей“ (приложение к журналу „Северная Азия“, Москва, 1927) – с неверной датой смерти (зима 1919). Такая же неверная дата перешла в примечания к письму Всеволода И. Иванова к Кондратию Худякову, напечатанному в сборнике „Литературное наследство Сибири“ (том третий, Новосибирск, 1974, стр. 310-311). Ср. также подробную справку о Маслове в книге Ю. Н. Тынянова „Поэтика. История литературы. Кино“ (М., 1977). О Маслове и Тагер см. также мое вступление и примечания к публикации воспоминаний Е. М. Тагер об Осипе Мандельштаме, напечатанных сначала в нью иоркском „Новом Журнале“ (№ 81, декабрь 1965), а потом выпущенных отдельно (Нью Иорк [1966]).

Среди неизданных произведений Маслова, которые после его смерти были доставлены Елене Тагер, были наброски романа „Ангел без лица“, главным персонажем которого должен был быть Влад. Вас. Гиппиус.

В 1923 г. Е. М. Тагер, жившая тогда в Архангельске, задумала издание произведений своего мужа и напечатала в журналах „Печать и Революция“ и „Книга и Революция“ письмо, в котором просила всех литературных и личных друзей Г. В. присылать ей

сохранившиеся у них материалы о нем. Издание это ни тогда, ни позже не осуществилось.

По словам Ю. Г. Оксмана, у Е. М. Тагер хранился портрет Г. В., написанный в 1915 г. М. К. Станюкович.

Г. С.



АВРОРА

ГЕОРГИЙ МАСЛОВ




КАРТОННЫЙ

ГЕОРГИЙ МАСЛОВ

АВРОРА

ПОЭМА

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Ю. ТЫНЯНОВА

ПЕТЕРБУРГ
1922

Настоящее издание отпечатано в 26-ой Государственной типографии в количестве 1000 экземпляров
Р. В. Ц. 738 Петербург. Зак. 79.

Обложка и фронтиспис работы
А. И. БОЖЕРЯНОВА

Марка работы А. Я. ГОЛОВИНА

ГЕОРГИЙ МАСЛОВ

Имя Георгия Владимировича Маслова мало кому известно; оно и останется в тени, потому что Георгий Маслов умер в 1920 году на больничной койке, в Красноярске, не достигши и двадцати пяти лет. Умирал он тяжело, сыпным тифом, но перед смертью еще выправлял свою поэму «Аврора».

Я помню Маслова по Пушкинскому семинарию Петербургского Университета[1]. Здесь он сразу и безмерно полюбил Пушкина, и хотя занимался по преимуществу изучением Пушкинского стиха, но, казалось, и жил только Пушкиным и недалек был от чувственного обмана: увидеть на площади или у набережной его самого. Дельвиг и Боратынский тоже стали для него ощутимы до физического чувства их стихов. Маслов жил почти реально в Петербурге 20-х годов. Он был провинциалом, но вне Петербурга он немыслим, он настоящий петербургский поэт. Вскоре мы

---

[1] Его изучение Пушкина сказалось в ряде интересных докладов в Пушкинском семинарии. Один из них напечатан в издании Академии Наук «Пушкин и его современники».

услышали его собственные, не всегда ровные, но уже строгие стихи. Стихи его стали появляться в печати (журнал «Богема», сборник «Арион», хрестоматия З. Гиппиус «88 стихотворений» и др.).

В годы революции Маслов очутился в Сибири. В тяжелые дни походной жизни он должно быть утешал себя воспоминанием о житье Дениса Давыдова и славил

Солдатский отдых краткий,
Солдатскую любовь.

Возврат к Пушкину был в нем и органичен и сознателен. В одном послании он говорит:

...я не верю нашей критике
И модных не терплю стихов,
Люблю старинные пиитики,
Где царство нимф и пастухов.

Этот возврат к стилю Пушкина, Боратынского, Дельвига заметною струею проявился тогда в литературе (Б. Садовской, Ю. Верховский). Он был плодотворен; стилизация была повторением или отблеском старого на новом фоне, — Пушкинский стих на фоне символистов приобретал новые, неведомые раньше, тона. Словесная ясность пушкинского стиха-плана, стиха-программы на фоне насыщенного, обремененного нового стиха, получала значение сложной простоты.

В последний год, однако, и у Маслова послышались другие звуки; уже после его смерти мы прочитали его последние опыты, в которых ломался прежний цельный и стройный стих, которые означали болезненное рождение нового.

Но предлежащая его поэма, написанная весной 1919 года, еще строга и сдержанна, как его более ранние стихи. Отчетливая (до линий историко-литературного реферата) композиция; традиционные, богатые архаическим весом, эпитеты; сжатость поэтических формул и переходов; тонкая эротика, воскрешающая полухолодную эротику Боратынского — черты эти, довольно точно, возобновляют красивую традицию.

Поэма Маслова не только литературна, она историко-литературна, и потому нуждается в комментарии.

Героиня характерна для холодного и страстного света 20—40-х годов. Аврора Карловна Шернваль—знаменитая красавица той поры [1]. Самое имя ее было благодарным материалом для поэтов. И она, и старшая ее сестра Эмилия Карловна Мусина-Пушкина воспеты неоднократно

О сестре Авроры писал Лермонтов:

Графиня Эмилия
Белее чем лилия.

Рядом с «белой лилией» казалась строгой смуглая «северная Аврора».

В 1824 году писал Авроре Боратынский, встретившийся с нею в Финляндии:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари!
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!

---

[1] Род. в 1813 г., умерла в 1902 г.

Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

Но Аврора не выводила за собой солнца счастья Рок, который явно для всех тяготел над нею, заставил призадуматься суеверных. Первый ее жених умер. Аврора уехала к сестре Эмилии в Москву. Спустя несколько лет был назначен ее брак с полковником Мухановым[1], но снова жених умер до свадьбы.

В 1836 году она вышла замуж за богача, мецената и чудака, графа П. Н. Демидова-Сан-Донато. Через четыре года Аврора овдовела. Второй ее брак, с блестящим офицером Андреем Николаевичем Карамзиным, сыном писателя, обещал Авроре счастье, которого она до сих пор тщетно домогалась. Родные с обеих сторон долго противились браку, но «любовь восторжествовала над сопротивною силою», как писал кн. Вяземский. Аврора, однако, была недолго счастлива.

В 1854 году Андрей Карамзин был убит в Дунайской армии, сорока лет от роду. Смерть его многих потрясла. Стареющий Тютчев писал с ужасом: «Можно себе представить, что этот несчастный Андрей Карамзин должен был испытать... Вероятно, в эту решительную минуту, на незнакомой земле, среди отвратительной толпы,

---

[1] Друг Боратынского, Путяты и др.; его статья о мадам Де-Сталь вызвала известный ответ Пушкина.

готовой его изрубить, в его памяти пронеслась, как молния, вся та жизнь, которую он терял: жена, сестры, вся эта жизнь, такая приятная, богатая, полная ласки».

Тютчев назвал эту смерть «недостойной жестокостью» и в письмах оставил образ Авроры, спокойной, окаменевшей в виду мертвого мужа.

Поэма Маслова — опыт стихового портрета Авроры. Сам же Маслов погиб, тоже «на незнакомой земле», и жизнь, которую он терял, была точно так же богата.

Оживят ли его стихи эту старинную жизнь? Дадут ли они его собственный образ, образ поэта, любящего умершие формы? Ведь линия красивой традиции, которую оживляет Маслов, — сама умерла в наши дни.

Во всяком случае, у стихов есть то преимущество перед людьми, что они оживают, — и не однажды.

Юр. Тынянов.

АВРОРА

ПОЭМА



ПОСВЯЩЕНИЕ

Разыщут ли Вас эти строки
В краю изгнанья и разлук,
В Чите или Владивостоке,
Мой грустный, мой прекрасный друг?
Пронесся вихрь, мечтанья руша,
Расстаться было суждено,
И не сольются наши души
В неизъяснимое одно.
Но и вдали Ваш голос слышу
В печальный сумеречный час,
Из кованных четверостиший,
Рожденных блеском Ваших глаз.
Души певучего простора,
Храню для Вас полярный лед.
Не Ваш ли взгляд меня, Аврора,
В беззвездьи ледяном ведет?

10 сентября 1919 года.

1.

Под крутизной скалы суровой
С поэтом ты легла на мхи,
И эхо в проеске сосновой
Твердит чудесные стихи.
Их выучит Россия скоро,
Журнальный осмеет Зоил,
И лишь тебе одной, Аврора,
Их сдержанный и строгий пыл.
Награда — розовая кашка,
Девичьей кисее под цвет.
И мнет солдатскую фуражку
В смущеньи молодой поэт.

2.

Тебе певцы слагают оды,
Тебя рисует карандаш,
Но подпоручик безбородый —
Твой верный и любимый паж.
Закат укутал стаю тучек
В малиновую епанчу:
О счастьи молит подпоручик,
Склоняясь к твоему плечу,
И слаще бред его бессвязный
Стихов Авроре и Заре.
О, девушка, свой май отпразднуй,
Не думая о декабре.

3.

Снежинки — звездочки на крепе.
Ты мечешься в лесу одна.
Ты в мире, будто в смрадном склепе,
Судьбой живьем схоронена.
Тропа у рыхлого сугроба,
На нем следов вороньих сеть.
Ты помнишь—бледный лик из гроба,
И невозможность умереть.

4.

Тогда в родительском совете,
Чтоб на душу не брать греха,
Решили, что в блестящем свете
Она забудет жениха.
Сестра Эмилия сияла —
Казалась раем ей Москва,
Но все равно душе усталой,
Где смерть предъявит ей права.

5.

Великолепием гостиных
И вихрем лиц не смущена,
Ты для законов света чинных
Была, казалось, рождена.
Ты шла, не опуская взора,
В толпу кидая сноп зарниц.
С твоим явлением, Аврора,
Бежала тень с угрюмых лиц.
Тебя князь Вяземский заметил,
Языков был пленен тобой,
И Александр Тургенев встретил
Веселым смехом лепет твой.

6.

Еще любовь — еще удар
До свадьбы не дожить невесте.
Ты поняла — твой юный жар
Сулит и рай, и гибель вместе.
Кто видел раз небесный сон,
Тому земные грезы грубы, —
И на смерть роком обречен
Поцеловавший эти губы.

21

7.

Но и печаль тебе к лицу,
Моя финляндская Венера, —
Ты в третий раз пошла к венцу,
Чтоб стать подругой мильонера.
Отца прельщало слово «граф»,
Твердила мать о южных виллах,
И нежным ласкам рук немилых
Ты отдалась, мечтать устав.

8.

Как он любил твой мрамор строгий
Печаль в сияньи синих глаз,
И непонятные тревоги,
И о былой любви рассказ!
Изведав жуткий лёд объятий,
Тоской и страстью истомлен,
Он шел в малиновом халате
Мечтать о счастье на балкон.
Голгофа свадебной поездки
Не так казалась тяжела —
Лицо ласкает ветер резкий,
Горит церковная игла,
Лениво моет скалы море,
Туманно голубеет даль.
И мысль — молитва об Авроре,
Как расцветающий миндаль.

9.

Прошло в пути четыре года.
Тоска его вперед гнала.
Зачем богатство и свобода,
Когда в душе седая мгла?
Он не нашел забвенья в спорте,
В вине, в голландских мастерах,
И где-то в северном курорте
Скончался на ее руках.

10.

Ты оценила нежность друга.
Любовь, быть может, шла вдали.
И было грустно гроб супруга
Почтить крупинками земли.
Отныне ты ходила в черном,
Знакомых видеть перестав,
Себя орудием покорным
Судьбы таинственной сознав.
Ты ждешь покоя от свободы.
Тебя несчастие сожгло!
Твои стареющие годы
Украсит Царское Село.

11.

От страсти верная опора,
Приходит старость. Дни летят.
Но не укрыть тебе, Аврора,
Свой ослепительный закат.
Поэт прославил это лето.
В год Севастопольской войны
Все были жгучим морем света
И блеском зорь опьянены.
Прогулкою себя измучив,
Ты кормишь лебедей семью.
Твой старый обожатель Тютчев
Садится рядом на скамью.
«А в вас, прекрасная Цирцея,
Несчастный юноша влюблен»
И, от предчувствий холодея,
Ты спрашиваешь:—«Кто же он?»
— «Отец историк знаменитый,
А сам он — статный офицер.
Но ваше сердце из гранита,
И страсть излечит револьвер».
Ты голову склонила ниже:
Так не пришел покоя час.
А лебедь подплывает ближе,
Прельщенный блеском синих глаз.

12.

Украли сердце у тебя,
И стала ты рабыней вора.
Ты ищешь, мучась и любя,
Спасенья от любви, Аврора.
Но, у притихшего пруда,
Зажженного зарей прекрасной,
Ты, охмелев от речи страстной,
Смущенно прошептала: «Да».
Он, став коленом на гранит,
Целует ледяные руки,
Пусть ты опять идешь на муки,
Но сердце, как заря, горит.

13.

Он был лет на десять моложе.
Иной жены хотела мать.
Но страстью, на болезнь похожей,
Сумела ты его сковать.
Ты, свой осенний пир справляя,
С пути препятствие смела,
И мать, тревожась и страдая,
Не согласиться не могла.
А сердце рвется от укора,
И на ступенях алтаря,
Несчастья вестница, Аврора,
Передзакатная заря.

14.

В торжественном молчаньи бора
Медовые часы летят.
Ты снова счастлива, Аврора,
Как восемнадцать лет назад.
У этой ели исполинской,
Раскрыв заветную тетрадь,
Любил покойный Баратынский
Свои стихи тебе читать.
Кружит широкая дорога
В темно-зеленой раме мха.
Здесь в первый раз, стыдясь немного,
Ты целовала жениха.
С концом сливается начало,
Не умирал он никогда.
Воспоминанье замолчало.
Ты влюблена и молода.

15.

Аврора, ты в венке из мака,
Пылает роза у плеча,
И говорят о тайнах брака
Глаза — два огненных меча.
Найдя предел земному счастью,
Муж бредит целый день женой,
Ее неутолимой страстью,
Ее таинственной тоской.
Он спит. Шипя, потухли свечи.
Рассветный холод. Тишина.
А ты Заря, заре навстречу,
Стоишь, пылая, у окна.

16.

Одна любовь его отрада.
Но офицеру выше долг.
Окончен отпуск. Ехать надо.
Границу переходит полк.
Какую огненную муку
Ему губами ты вожгла,
Когда на страшную разлуку
Судьба супруга обрекла.
Утихло, наконец, волненье
Настал отчаянья покой.
И ты прочла без удивленья:
«Андрей скончался, как герой».

17.

Как хорошо расстаться с горем,
Когда горячим днем идешь,
И буйным желтоводным морем
Тебя кругом ласкает рожь.
Заснул ленивый оборванец
У солнцем залитой межи,
Разлился по небу румянец,
Шныряют легкие стрижи.
В дали веселой речки блестки,
Сторожки вьющийся дымок.
И треплет серебро прически
Сухой восточный ветерок.

18.

Но не с седыми волосами
Ты появилась предо мной,
В обыкновенной черной раме,
В соседстве с милой стариной.
Я не забуду наши встречи,
Кудрей крутые завитки,
И беломраморные плечи,
И взгляд, исполненный тоски.
И под глазами роковыми,
Нежданной песнею горя,
Твержу пленительное имя,
Сияющее как заря.

ПРИМЕЧАНИЯ

Еще до выхода тыняновского издания „Аврора“ была напечатана посмертно в харбинском журнале „Русское Обозрение“ (№ 3-4, март-апрель 1921 г., стр. 1-3). Возможно, что некоторые части ее и до того печатались в сибирских газетах, а, если верить одной рецензии на тыняновское издание (статья П. Комарова, см. о ней ниже), вся поэма была напечатана в 1919 г. в омской газете „Заря“ (Комаров говорит, однако, что поэма была закончена в сентябре 1919 г., противореча этим более ранним датам под публикацией в „Русском Обозрении“). Но нами эти публикации не были найдены, и мы могли сличать текст тыняновской версии только с публикацией в „Русском Обозрении“. В журнале поэма печаталась по старой орфографии, а нумерация „строф“ была не арабская, а римская. Той „строфы“, которая в тыняновском издании идет под номером 3, в журнале не было, так что после „строфы“ 3 в нумерации налицо расхождение, и в даваемом ниже списке разночтений мы приводим оба номера. Вот все разночтения, кроме пунктуационных, в первом, т. е. журнальном, тексте:

1:	Стих 1:	Наскучил вид скалы суровой
	" 7:	Но лишь тебе одной, Аврора,
2:	" 1:	Она выслушивает оды,
	" 2:	Ее рисует карандаш,
	" 4:	Хотя не гений, – лучший паж.
	" 5-8:	этих стихов нет
	" 9:	И слаще жар его бессвязный
	" 10:	С усмешкой слушать на заре.
3:		Этой строфы в журнале, как сказано, нет.

4 (III): Первым строкам окончательной версии здесь предшествуют следующие четыре стиха:

Он умер. Тишина, как в склепе,
И не с кем танцовать и петь.
И северных великолепий
Одной не хочется смотреть.

Стих 6: Ей раем грезилась Москва,
" 8: Где смерть предъявит к ней права.
5 (IV): " 8: Бежала тень с унылых лиц.
7 (VI): " 3: И снова ты пошла к венцу,
" 5-6: Эти стихи были в обратном порядке.
10 (IX): " 12: Укроет Царское Село.
После этого еще три строки многоточий.
11 (X): " 2: Подходит старость. Дни летят.
" 18: А сам он – молодой корнет,
" 20: И страсть излечит пистолет".
" 21: Ты голову склоняешь ниже:
13 (XII): " 6: С пути препятствия смела,
14 (XIII): " 9: Кружит заветная дорога
И в конце – две строки многоточий.
15 (XIV): " 11: А ты – заря, заре навстречу,
" 12: Стоишь, нагая, у окна.
17 (XVI): " 2: Когда июльским днем идешь
" 9: Вдали пологой речки блестки,
" 10: Сторожки веющий дымок,
" 12: Сухой вечерний ветерок.
18 (XVII): " 5: Я не забуду нашей встречи,
" 9: Я под глазами роковыми
" 11: Твердил божественное имя,

Под журнальным текстом – дата: 26.IV–3.V. 1919. Омск.

По словам Ю. Г. Оксмана, „Аврора“ была задумана еще в 1917 - 1918 году в Симбирске. Но первоначально Маслов и его жена думали писать вместе роман об Авроре Шернваль. Об этом замысле рассказала Е. М. Тагер-Маслова в биографической справке о муже, написанной по просьбе Ю. Г. Оксмана и хранящейся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 2567). Она писала: „. . . замысел несостоявшегося романа он вложил в поэму ‘Аврора’. . . Но в поэму вошло только поэтическое восприятие биографии А. К. Демидовой-Шернваль, а роман, по его мысли, должен был развертываться на широком общественно-историческом фоне – взаимоотношений России с новоприсоединенной Финляндией. Не скрою от Вас, что мне очень хотелось бы вернуться к этой нашей юной теме и сделать ее с надлежащим историческом размахом, так, как нам с ним грезилось в те полные надежд и замыслов светлые годы . . . Идея романа его, но ‚первичная находка‘ – моя: упиваясь Саитовскими примечаниями к ‘Остафьевскому архиву’, я заинтересовалась личностью фатальной Авроры и заинтересовала ею и Юру. В письмах, которые в 20 - м году я получила из Сибири, было много стихов – его и друзей о нем. Один из этих друзей писал: ‘Наивным и жестоким бредням / Твой стих чеканный посвящен; / Ты полюбил ее последним, – / Ты, как и первый, обречен! . . .’ “ .

Одним из первых отзывов об „Авроре“ Маслова был отзыв, подписанный П. Комаровым и напечатанный вскоре после выхода Тыняновского издания в журнале „Сибирские Огни“ (№ 5, ноябрь - декабрь 1922 г., стр. 187). Автор рецензии писал о том, что „Аврора“ „написана чеканными четырехстопными ямбами со ‘ сдержанным и строгим пылом’, присущим только большим поэтам. [. . .] Г. Маслов так же попал в роковой круг ее [Авроры Шернваль] поклонников, увидев ‘в соседстве с милой стариной’ ее портрет, и так же она зажгла его ‘нежданной песней’, и так же как бы накликала на него безвременную смерть“. Комаров также писал, что Маслов „стоял спиной к будущему, к революции. Его взгляд был прикован к Пушкинской эпохе, в которой он духовно жил наперекор действи-

тельности . . . Настоящее же было для него лишь 'ледяным беззвездием'".

Об Авроре Шернваль в 1934 г. напечатал статью в парижской газете „Возрождение" В. Ф. Ходасевич. Статья эта была отчасти навеяна сообщением о том, что король Югославии Александр своим преемником и регентом назначил князя Павла Карагеоргиевича, мать которого была русского происхождения: она была дочерью Авроры Карловны Шернваль от брака с П. Н. Демидовым, и звали ее тоже Авророй. В своей статье Ходасевич напоминал, что к отцу Авроры Павловны Демидовой перешел титул князя Сан Донато, который носил его дядя, Анатолий Николаевич Демидов, женатый на принцессе Матильде, племяннице Наполеона, приобретший небольшое княжество Сан Донато в Папской области и умерший бездетным. Этот титул был прибавлен к его фамилии с соизволения императора Александра II. Он умер в 1885 г., а сама Аврора Карловна Шернваль дожила до 1902 г. и умерла в своей родной Финляндии в возрасте 89 лет.

Поэма Маслова, очевидно, осталась Ходасевичу неизвестна, и он ее в своей статье не упоминал.

НЕСОБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Г. МАСЛОВА

1.

Вот промелькнула ночь бессонная.
Глядится день в просторы штор,
И вы уходите смущенная,
Стыдливо уклоняя взор.

Как будто днем опять поставлена
Меж нами темная черта,
И все, что ночью было явлено,
Все снова призрак и мечта.

И вы уж никогда не вспомните,
В туман предутренний уйдя,
Бессонной ночи в этой комнате
Под пенье летнего дождя.

2.

ЯМБУ

О мой ямб, звонконогий мой конь,
Непокорный рабам Буцефал,
Я смогу укротить твой огонь, –
Я свободным и дерзостным стал!

Вдохновенно Пушкина нес
Ты по темени девственных скал
И, в венках из вакхических роз,
Под Языковым буйным дрожал,

Но, не согнутый вихрями лет,
Так же ты непреклонен и горд, –
Был не раз беззаботный поэт
Под твоими ногами простерт. . .

Но прими от меня дифирамб,
Кто б из нас побежденным ни стал,
О мой конь, звонконогий мой ямб,
Непокорный рабам Буцефал!

3.

Не нам весеннее безумье
И трепетный поток стихов,
Нам жребий – горькое раздумье
И нищенская скупость слов.

Намеков еле зримой тканью
Скрыв мысли тайные свои,
Нас Баратынский вел к молчанью
И Тютчев говорил: „таи“.

И пусть из радостного плена,
Из недр божественного сна
Слова стекают словно пена
С бокала полного вина.

4.

СИРИНГА

Полна смущенья и тревоги,
Ты убегала в темный лог.
Но распаленный, быстроногий,
Не отставал дубравный бог.

Ты спотыкалась, ты молилась,
И боги слышали твой крик,
И ты чудесно превратилась
В невнятно шепчущий тростник.

Но он сломал твой стебель тонкий,
Отверстье выдолбил в стволе.
Твой стон печальный и негромкий
Поведал небу и земле.

5.

Теперь тебе не до смеха –
Ты слишком увлекся ролью.
Что было веселой потехой,
Вдруг стало болью.

Истомила тебя бессонница,
И не радует вечер свежий.
Мысль за мыслию гонится,
Но глаза сияют все те же.

Быть может, вы на крылечке
Сидите в короткой юбке,
А ваш друг пускает колечки
Из черной трубки.

Я знаю – вы очень строги,
И ходить не следует мимо.
Но что ж, если все дороги
Приводят к Риму?

6.

Под наклоненными ветвями
У церкви на кладбище мир,
И ангельскими голосами
Владыку восхваляет клир.

Мои звучат иначе песни –
Они не всходят к небесам,
Они тяжеле и телесней,
Чем этот чистый фимиам.

Но не хочу уничтоженья
Ни милых песен, ни чужих –
Одно и то же вдохновенье
Из хаоса воздвигло их.

Мне сладко знать, что в этом мире
Ничья не безответна весть,
Что и моей незвучной лире
В нем слабое отзвучье есть!

7.

СОЮЗНИКАМ

I

В парижский салон неловко впустить
Московских дикарей.
А ведь очень скоро мы будем учить
Вас, как глупых детей.

Нет сладкозвучней русских стихов,
Нет прекраснее северных дам,
И за лазурь Средиземных берегов
Я гранит Невы не отдам.

Заболтает по-русски парижский франт
И забудет родных Камен.
В России в каждой деревне есть Кант
И в каждом городе – Верлен.

II

Как найти подходящие слова, –
Весна и восторг в груди.
Впереди путеводной звездою Москва,
А Волга уже позади.

Мой милый край чудесно воскрес,
Как природа после зимы.
Мы в старой Москве созовем конгресс,
И на нем будем только мы!

И, смотря на ряды солдат,
Увитых венком побед,
Замолкнет ловкий дипломат,
Если мы скажем „Нет“.

Апрель 1919 г.

8.

Окончен день, как все, бесплодный,
Но полный скуки и труда,
И блещет первая звезда
В струях реки широководной.

Направо – серебро озер,
Поля, холмы и перелески,
А солнце в пурпуре и блеске
Скрывается за гранью гор.

Люблю твой равномерный лет
Над степью, зноем опаленной,
И в тверди, заревом зажженной,
Твой ослепительный заход!

Не так ли я теперь влеком
По дням бесцветным и случайным,
Чтоб вспыхнуть заревым огнем,
Как твой закат, необычайным.

9.

Уже закат румянится.
Понежусь у окошка.
По тротуару пьяницы
Шатаются с гармошкой.
Веселости и удали
Как много в песне этой!
С ней рядом не причуда - ли
Терцины и сонеты?
Нет, нынче мы в подвальчике
Вином наполним кружки
И заорем, как мальчики,
Веселые частушки.

10.

Ясное солнце юга
Над сентябрем моим.
Не ты ли это, подруга,
Мне улыбнулась с ним?

Не ты ли придешь прижаться
Ко мне на закате дня,
Чтобы со мной смеяться,
Чтобы любить меня?

Кружево золотое,
Облачко над рекой.
Ах, почему в такое
Время ты не со мной?

С быстротекущим летом
Вернуться ко мне поспеши.
Впрочем, разве поэтам
Не все времена хороши?

11.

Бокалы пеним дружно мы
И Девы-Розы пьем дыханье...
Пушкин. Пир во время чумы.

Пора стряхнуть с души усталой
Тоски и страха тяжкий груз,
Когда страна изгнанья стала
Приютом благородных муз.
Здесь вечно полон скифский кубок,
Поэтов – словно певчих птиц!
А сколько шелестящих юбок.
Дразнящих талий, тонких лиц!
От мира затворясь упрямо,
Как от безжалостной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот,
Свой мозг оставит мостовым.

Омск Ноябрь 1919 г.?

12.

Сердце – горячая, алая рана,
А я думал – оно мертво.
Злая стрела золотого колчана
Лукаво пронзила его.

Серого меха вашей ротонды
И маленьких пальцев, неслышного „Да“,
И вашей улыбки, как у Джоконды,
Мне не забыть никогда.

Мне хочется жизни, бесцельной и шумной,
Без грез и усталого сна,
Мне хочется петь, как Языков безумный,
О чарах любви и вина.

Забыть достиженья, паденья, ошибки,
Лететь в темноту и гореть,
И в жгучих лучах этой грешной улыбки,
На миг засияв, умереть.

1 августа 1919. Омск.

13.

Но нежный лепет скрипки
Опять уводит к Вам,
К томительной улыбке,
К рассеянным стихам.

И мысль сверлит до боли,
Что не умею жить,
Что не хватает воли –
Уйти или забыть. . .

Терпи, покуда в силах.
Так, верно, суждено:
Объятья рук немилых,
Отчаянье, вино.

14.

Помнишь, Лена, первый вальс на бале?
Мы кружились до потери сил,
И архивны юноши сказали,
Что тебя я, верно, покорил.
Но, бокалы до края напенив,
Увели с собой меня друзья.
Александр Иванович Тургенев,
Улыбаясь, заменил меня.
Как Алябьева, ты стала модной,
Блеск ее тебя не затемнил,
И певцы красавице холодной
Отдавали стихотворный пыл.
Как же, Лена, ты, которой в мире
Грезились лишь вальсы и цветы,
Хочешь кончить в ледяной Сибири
Жизнь со мной средь горькой нищеты?
Отказать тебе я не умею,
Шемит грудь от счастья и тоски.
Плачу и поцеловать не смею
Слабо надушенные листки.

1919 г.

15.

Никак не привыкну к контрастам.
Вчера холода стояли.
А сегодня под настом
Ручьи побежали. . .

К концу недели, наверно,
Станет тепло и сухо.
В тревоге нервной
Забьется о стекло муха.

Хорошо расстаться с тулупом,
С шапкой ушастой,
Стать влюбленным, глупым. . .
О, весна моя, здравствуй! . .

Март 1919.

16.

Нет. Жизни раннего конца
Я всетаки желать не смею.
Вы улыбнулись мне с крыльца,
И ветер обвевает шею.

Скрипит подгнивший трроруар,
Залаял пес на перекрестке,
А розы в запертом киоске
Глядят на проходящих пар.

Смотрю на звезды и бреду
Домой, мечтая о постели.
Но сладкая усталость в теле,
И кажется, я не дойду. . .

Теряя дням бесплодным счет,
Над песнями узду теряя,
Засну на лавке у ворот,
Улыбку Вашу вспоминая. . .

31 июля 1919 г.

17.

Четыре года минули.
Ушли и пришли враги,
И снова мы в карауле,
С винтовкой у ноги.

Тогда чернели Карпаты,
Теперь вдалеке Урал. . .
Но так же поют солдаты
Песню „Старый капрал“.

И девушка у колодца
С высоким журавлем
Тебе лукаво смеется,
Позванивая ведром.

Пылит по дороге стадо,
Мальчишка трещит бичем,
И сладостная отрада –
Не думать ни о чем.

(Из цикла „Егеревских песенок“).

18.

ПЛЕН

(Красноярское Рождество)

Рождественскими вечерами
Волнует всех ворожба,
Вашими маленькими руками
Как будто говорит судьба.
Смотрю на карты в испуге –
Они предвещают боль,
Что-то твердит подруге
Обо мне бубновый король.
А дальше опять дорога
С дружеским королем,
Несчастий вытерпишь много,
Но ждет тебя милый дом.
Ах, только бы нам, скитальцам,
Добраться до милых стен,
Худеньким слабым пальцам
В сладкий отдаться плен.
Только б хватило силы
Заново жизнь начать,
А горя так много было,
Нам ли его считать?

7 января 1920 г.

19.

ПУТЬ ВО МРАКЕ

(Дорога Омск - Красноярск.
Январь - февраль 1920 г.)

1

В. М. Кремковой

Скорбно сложен ротик маленький.
Вы молчите, взгляд потупя.
Не идут к вам эти валенки,
И неловки вы в тулупе.

Да, теперь вы только беженка,
И вас путь измучил долгий,
А какой когда - то неженкой
Были вы на милой Волге!

Августовский вечер помните?
Кажется, он наш последний.
Мы болтали в вашей комнате,
Вышивала мать в соседней.

Даль была осенним золотом
И багрянцем зорь повита,
И чугунным тяжким молотом
Кто - то грохотал сердито.

Над притихнувшими долами
Лился ядер дождь кровавый,
И глухих пожаров полымя
Разрасталось за заставой.

Знали ль мы, что нам изгнание
Жизнь-изменница судила,
Что печальное свидание
Ждет нас в стороне немилой?

Вот мы снова между шпалами
Бродим те же и не те же.
Снегточеными кристаллами
Никнет на румянец свежий.

И опять венца багряного
Розы вянут за вокзалом.
Что ж, начать ли жизнь нам заново,
Иль забыться сном усталым?

Сжат упрямо ротик маленький,
Вы молчите, взгляд потупя...
Не идут к вам эти валенки,
И неловки вы в тулупе.

2

Стоят морозы.
Глубокий снег.
Обозы. Обозы. Обозы.
Впереди – вереница телег.
Побросали вещи,
Тепло пешком.
Ворона кричит зловеще.
Чорт с ней! Идем.

3

Из вагона прогнали
Поляки.
Плакала больная дама.
Свободный тормаз во мраке
Упрямо
Искали
Душа захлебывалась в злобе,
Кровью налились виски.
Завяз в сугробе,
Промочил носки.

4

Смотрит унылым глазом лощадь
Из вагонной мглы,
И веселый жеребенок все хочет взъерошить
Наши узлы.

Господи, наконец-то едем,
Все равно, куда!
И нашим четвероногим соседям
Нравится езда.

Как мы замерзли, поезд карауля!
Как хорошо немного отдохнуть!
Что ждет нас завтра? Быть может, пуля
Иль снова путь?

5

Мы приехали после взрыва.
Опоздали лишь на день,
А то погибнуть могли бы.
Смерть усмехалась криво
Из безглазых оконных впадин.
И трупов замерзших глыбы
Проносили неторопливо . . .
Но мы равнодушны к смерти,
Ежечасно ее встречая,
И я, проходя – поверьте –
Думал только о чае.
Добрели мы до семафора,
Свободен путь, слава Богу.
Ну, значит, – скоро
Можно опять в дорогу.

Ст. Тайга.

6

А. Ш.

В черной шапочке, с сумкой за плечами,
Вы проходили месяц медовый.
Едва поспевает за вами
Муж решительный и суровый.

Странно слышать такие простые
И непривычные слова:
„Я верю – Россия
Еще жива“ .

Пусть душа моя стала зверем
И не ищет от травли спасения, –
Я верю, мы оба верим
В воскресение.

7

Розовым румянцем перламутра
Январское засмеялось утро.
Смехом багряным смейся, заря, нам,
Скитальцам по немилым странам,
Чтоб несли мы горе покорней,
Осужденные десницей горней.

Встает, заря, твой розовый полог,
И будет день и тяжек и долог,
И будет грустно в сугробах снега
До неизвестного брести ночлега.

8

Кн. Кур[акину]

Носили воду в декапод
Под дикой пулеметной травлей.
Вы рассказали анекдот
О вашем предке и о Павле.

Не правда ль, странный разговор
В снегу, под пулеметным лаем?
Мы разошлись и не узнаем,
Живем ли оба до сих пор.

Но нас одна и та же связь
С минувшим вяжет.
А кто о нашей смерти, князь,
На родине расскажет?

9

Тянутся лентой деревья,
Морем уходят снега.
Грустные наши кочевья
Кончат винтовки врага,

Или сыпные бациллы,
Или надтреснутый лед . . .
Вьюга зароет могилы
И панихиды споет.

Будет напев ее нежен,
Мягкой – сугробная грудь.
Слишком уж был безнадежен
Тысячеверстный наш путь.

Где поспокойней и глуше,
Где не услышишь копыт, –
Наши усталые души
Сладостный сон осенит.

10

Быть может, жива Россия,
Но ты уже не жива.
Смотрит в небеса пустые
Маленькая голова.
„Граждане, вы будете расстреляны
Через час“.

И сверкнули пристальные щелины
Злобных глаз.
Алая змейка грудь схватила
И исчезла, в снег упав.
Все ушли, лишь собака выла,
Нос задрав.

11

Довольно, больше идти не надо!
Душа до дна пуста.
Истерика, визгливая менада,
Кричит в мои уста.
Отчаянье тяжелым комом
К душе прилипло.
Но не хочу я бросить землю –
И внемлю
Звукам незнакомым
От лиры хриплой.
О, ты ли,
Соловей Цитеры,

Такие звуки
Из собственной могилы
В меняющиеся размеры
Куешь, ломая руки?

Давно ли
Рубины зорь в спокойном небе
Искали все мы?
Теперь твой жребий –
Стать криком боли
Для тех, кто немы.

12

Мы жили в творческом тумане,
Губители чужих наследий,
Стихи чеканя
Из меди.
Но, все ограды руша,
Мир входит к нам в двери.
Больные выльем души
В каком размере?

На лиру мы воловью
Натянем жилу,
Чтоб звукам, вырванным из сердца с кровью,
Хрипящую оставить силу.
Они без форм. В них есть уродство
Невыношенного созданья.
Но их осветит благородство
Страданья.

20.

ОТРЫВКИ

1

Печаль позабыта, мы смотрим, скитальцы,
В просторы ночной синевы.
Касаются чьи-то прекрасные пальцы
Бездумной моей головы.

. . . .

Ты не жил, быть может,
И счастья ты не пил,
И страсти не знал искони.
Ничто не встревожит
Остынувший пепел.
Душа, отдохни!

2

. . . .
И я покину край Сибири,
Где музы, песни и вино,
И был Георгий Маслов в мире,
Иль не был – будет все равно.

[1919?]

21.

ДОН ЖУАН

Комедия в 1-м действии

Действующие лица:

Дон Жуан - 18 лет
Лепорелло - 48 лет
Изабелла, прекрасная вдова - 30 лет
Поэт, Патер, Девушки.

(Улица. Изредка доносится шум недалекого кабачка „Призывный Рог". Бьет полночь. Появляются Дон Жуан и Лепорелло).

Дон Жуан:

Наш час настал. Луна, как вестница,
На середине небосклона.
Когда ж веревочная лестница
Ко мне опустится с балкона?
С какою страстью неизведанной
Я жду свидания с жестокой!
А ты, мой Лепорелло преданный,
Побудь: до утра – недалеко.

(Лепорелло становится за угол и пьет из фляги).

Дон Жуан, с гитарой:

Изабелла, Изабелла,
Долго ль ждать?
В эту полночь ты велела
Мне не спать.
Правый угол занавески
Отверни.
Спит Севилья в лунном блеске,
Мы одни.
Где-то песня зазвучала
Соловья.
О, шепни мне, как бывало:
„Я – твоя“.

(Спускается веревочная лестница. Жуан скрывается в окне).

Лепорелло:

Опять брожу я, как дурак,
Под окнами чужими
И, если ночь пройдет без драк,
Прославлю Божье имя.
Пора бы бросить мне давно
Такого беззаконца,
Но не разлучны с ним вино
И звонкие червонцы.
Уж восемь лет, как я женат,
И добрая жена
Мне подарила двух ребят
И домик в три окна.
Когда ж мы заведем трактир,
Жизнь станет рай земной,
Тяжел карман, в семействе мир,
Боченок под ногой.

(Пьет из фляги)

(Проходит Патер нетвердой походкой, из одного кармана торчит бутылка, из другого женский чулок).

Патер (поет):

Ставьте бутылки!
Ночью чудесной
Буду я, пылкий,
Петь о прелестной.
Ласкам красотки
Пламенно вторя,
Мчусь я на ложе
В огненном море.
Ставьте бутылки!
Ночью чудесной
Буду я, пылкий,
Петь о прелестной.
Будет за качкой
Берег блаженный
Близок, о прачка,
Рай сокровенный.

(Он замечает Лепорелло).

О, ты ли здесь, почтенный Лепорелло,
Ты, клявшийся покинуть Дон Жуана,
На муки ада отданного Богом?
И снова, стражем мерзкого разврата,
Ты ночь не спишь, свою семью оставив!

Лепорелло:

Святой отец, я грешен, но скажите,
Откуда вы идете в этот час?
Каких трудов вас задержало бремя?

П а т е р (важно):

Я грешника усовещивал долго,
И наконец он внял святому гласу.

Л е п о р е л л о:

А силу подкрепляли из сосуда,
Который скромно смотрит из кармана,
И слезы черным платом утирали?

П а т е р (осматривает свои карманы и прячет чулок):

Так вот как ты стремишься ко спасению,
Бездельник, плут, развратник, богохульник!
Ну, будут черти скверный твой язык
Тянуть клещами и калить железом!
(Уходит).

(Дон Жуан в окне целует руку и спускается по лестнице).

И з а б е л л а:

Смотри, Жуан, – не раньше воскресенья.

Ж у а н:

Покорен я. (Изабелла скрывается).
Ей показалось мало!
Нет, каково? Быка ей подавай!
„Ах, Дон Жуан, вы были интересней!“
Который раз я слышу от нее!
Пора бы кончить с этой старой песней,
Не изменить ли ей?

Л е п о р е л л о:

Не выйдет это –
Она вас бросит раньше воскресенья.

(Появляются разряженные девушки, возвращающиеся со свадьбы).

1-ая: А новобрачная была мила!

2-ая: Но радовалась слишком откровенно.

3-ья: Подруги, кто-то караулит нас!

Лепорелло:
Совсем не вас. Мы так себе гуляем.

Девушки:
Ах, это Дон Жуан, наш чтитель дивный!

(Окружают его хороводом).

Ты ли это, милый старый
Дон Жуан?
Как всегда, в плаще с гитарой,
Горд и пьян.
Стал теперь ты безопасней
Воробья,
Но так много ходит басней
Про тебя.
Губы, знавшие лобзанья
Королев,
Поцелуйте на прощанье
Дерзких дев.
(Дон Жуан сердит. Неохотно он целует ближнюю девушку).
Ну, а нам кто же споет песенку?

Лепорелло:
Я всегда готов.

(Девушки оставляют Жуана и кружатся вокруг Лепорелло).

Л е п о р е л л о :

Прельщали нас бочонки
Старинного вина.
Такие же девчонки
Нас звали из окна.
Боялись нашей шпаги
Рогатые мужья.
Считали мы, бродяги,
Что наша вся земля!
Теперь живем без водки
И избегаем шпаг.
Коварные красотки
Нашли других бродяг.
Пора остепениться
И, не смущая мир, –
Вам, Дон Жуан, жениться,
А мне открыть трактир.

Д е в у ш к и :

Браво, браво.

(Одна его целует, другая хлопает по лысине и убегает. Появляется Поэт. Жуан и Лепорелло прячутся. Поэт садится на большой камень).

П о э т :

Твой образ милый
В ночной мантилье
Пронзил пажа,
Сломались крылья,
И я бескрылый,
О госпожа!
Пылают щеки,
Ввалились очи.

Тобой дыша,
Несутся строки,
И все жесточе
Болит душа.
Слагая гимны
Моей царице,
Я изнемог.
Пойду томиться
В гостеприимный
„Призывный Рог“.

И з а б е л л а (распахнув окно):
Ах, это вы, застенчивый поэт!
Как трудно спать такой чудесной ночью . . .
К тому ж гуляки под окном горланят.

П о э т :
Позвольте мне стоять здесь до утра
И охранять ваш сон ненарушимо.

И з а б е л л а :
Нет, проведите ночь повеселее.

(Поэт кланяется и идет дальше).

Какой он робкий и непонятливый. Мне бы хотелось ответить его юношеской любви. А я отдаю любимое им тело развратным и холодным объятьям. Теперь он пойдет в „Призывный Рог“ и будет пьянствовать всю ночь, шепча мое имя. (Прячется).

Д о н Ж у а н (встает):
Ты, жизнь моя, взлетала пеной
И падала в прозрачный ров,
И я был счастлив вечной сменой
Неуспокоенных валов.

Ах, жизнь моя, как ты металась
В любви, в томленьи и вине!
Ах, жизнь моя, какой казалась
Ты раньше безграничной мне!
Чего душой неутомимой
Искал в покорных я руках?
Чей образ странный и любимый
Мне грезился в усталых снах?
Я думал, что, небесной браги
Испив с неведомой до дна,
Я упаду, ударом шпаги
Сраженный, у ее окна!
Жизнь утекала, и томила
Любовниц нежных череда.
Душа забыла образ милый,
И ей не вспомнить никогда.

Изабелла (выглядывает с внезапной нежностью):

Вы еще не спите, мой возлюбленный! Вам следует беречь свое здоровье. (Посылает ему воздушный поцелуй).

Лепорелло:

А, в самом деле, не пора ли нам в постельку?

Дон Жуан: Мне все равно.

Лепорелло:

Еще одно последнее сказанье:
Не приглянулась ли вам дочка мясника?
Она всегда, приотворив оконце,
На вас глядит задумчиво и томно.
Чтоб вам на ней жениться? Правда,
Отец вскипит, припомнит ваши плутни, –
Но с дворянином как не породниться?

Д о н Ж у а н :

Жениться? Мне? На дочке мясника? . .
Поэты славят мой прекрасный образ.
Пусть он пройдет века ненарушимо,
Грозой мужей, приманкой слабых жен.

Л е п о р е л л о :

Бог с ними! Пусть их славят! Вам же
И о себе давно пора подумать.
Ей двадцать лет, и пухленькие щеки
Ждут ваших грешных губ благоговейно.
Она б за вами бегала, как нянька,
Пополнив ваш кошель деньгами тестя.
Мы бы ходили в гости к вам с Луизой,
И жизнь бы потекла ручьем незвучным!

Д о н Ж у а н :

А в самом деле! Надо подумать. Пойдем беседовать в „Призывный Рог".

(Уходят).

Л е п о р е л л о :(за сценой):

Когда ж мы заведем трактир,
Жизнь станет рай земной!
Тяжел карман, в семействе мир,
Боченок под ногой!
Сам знаменитый Дон Жуан
В ненастный вечерок
Зайдет подчас глотнуть стакан
В наш славный кабачок.

З а н а в е с

Омск, 1919, февраль.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 – Напечатано в журнале „Богема“ (Петроград), 1915, № 4, стр. 11.

2 – В журнале „Рудин“ (Петроград), 1915, № 3, стр. 3.

3 – Получено мною от покойного В. А. Злобина, который знал Маслова по университету и по литературным кружкам, без указания времени и места напечатания. Возможно, что, как и предыдущее стихотворение и как следующее, напечатано в журнале „Рудин“. В приложенной к книге Ю. Н. Тынянова „Поэтика. История литературы. Кино“ справке о Г. В. Маслове (стр. 450-53) публикации стихов Маслова в „Рудине“ не указаны. А в „Богеме“, согласно той же справке, было напечатано только одно его стихотворение.

4 – См. предыдущее примечание. „Сирингой“ называлось, между прочим, издательство, в котором вышел сборник „Арион“, и неслучайно первый сборник Маслова должен был называться „Тростник“. Можно думать, что название издательства было придумано Масловым, хотя ко времени выхода „Ариона“ его уже не было в Петербурге.

5 – В газете „Сибирская Речь“ (Омск), 3 августа 1919.

6 – Там же, 7 августа 1919 г.

7, 8, 9, 10 – Там же, 21 сентября 1919 г.

11 – В альманахе „Елань, сборник первый, весенний, чуть эротический“ (Томск, май 1919, стр. 11). Перепечатано в сборнике „Одесса – Поволжью. Посев“ (Одесса, 1921). Восемь строк этого стихотворения были процитированы в отзыве об „Авроре“ П. Комарова в журнале „Сибирские Огни“ (1922, № 5, стр. 187). Комаров говорил, что Маслов писал это стихотворение осенью 1919 г., „как бы предчувствуя свою смерть“.

12 – Это стихотворение, а также №№ *13, 15, 16* и *17* были, повидимому, напечатаны в журнале „Фиал“ (Харбин) в 1921 г.

14 – Посмертно в сборнике „Одесса – Поволжью. Посев. Литературно-критический и научно-художественный альманах". Одесса, Всеукраинское государственное издательство, 1921, стр. 10. Редактором этого сборника был Ю. Г. Оксман (1895 – 1970). Стихотворение было известно, повидимому, также под названием „Декабрист". Перепечатано в „Антологии Петербургской поэзии эпохи акмеизма", под редакцией Ю. Иваска и В. Тьялсма (George Ivask and H. W. Tjalsma), München, Fink Verlag, 1973, S. 179.

18 – В сборнике „Одесса – Поволжью", стр. 11.

19 – Этот цикл, полученный мною от покойного Ю. Г. Оксмана, публикуется впервые. К этим стихам Ю. Г. Оксман написал следующий комментарий: „Цикл стихотворений 'Путь во мраке' скопирован был мною со списка, привезенного в августе 1920 г. в Одессу Н. В. Яковлевым, который часто встречался с Масловым в Омске (они были товарищами по Петербургскому унив[ерситету] и Пушкинскому семинару), был страстным почитателем его поэзии и переписывал в 1919 и 1920 гг. все то, что печаталось Масловым в сибирских газетах и журналах.* Список Н. В. Яковлева был мною выправлен на основании списка Е. М. Тагер-Масловой, которая, в свою очередь, выправила свой список по беловому автографу, хранившемуся у В.М. Кремковой. В начале 1921 г. Вера Михайловна Кремкова жила в Петрограде. Именно она закрыла глаза Маслову в Красноярской больнице 15 марта (стар. ст.?) 1920 г. Дальнейшая судьба В. М. Кремковой неизвестна. Можно не сомневаться, что она была арестована в Ленинграде около 1930 г. (никак не позже). Ее архив погиб. Черновая редакция цикла 'Путь во мраке' (автографы) была привезена Елене Мих[айловне] Тагер в Симбирск из Красноярска весною 1920 г. Вместе с другими автографами Маслова черновики 'Пути во мраке' были

* Возможно, что список Н. В. Яковлева был сделан с печатного текста, опубликованного в какой-нибудь сибирской газете. В таком случае публикация эта не была ни Оксманом, ни нами разыскана. – Г. С.

изъяты у Масловой при аресте в 1938 г. и, видимо, тут же* уничтожены".

20 – Первый из этих отрывков был записан по памяти (может быть, не вполне точно) той уже упоминавшейся мною знакомой Г. В. Маслова и товаркой его жены по Высшим Женским Курсам, которая поделилась со мной своими воспоминаниями о Г. В. и Е. М. Она помнила наизусть многие строки из „Авроры", но иногда делала в них и ошибки. Из какого стихотворения были эти строки, она не могла вспомнить, как не могла и припомнить в каком дальневосточном журнале оно было напечатано. Второй отрывок цитировался в уже упомянутой статье П. Комарова.

21 – Комедия „Дон Жуан" была напечатана в сборнике „Елань" (Томск, май 1919, стр. 2-7).

Кроме того, в № 2 журнала „Рудин" за 1915 г. на стр. 2 было напечатано стихотворение за подписью *А*. Маслова. Была ли это опечатка в инициале или сознательная мистификация, или же стихотворение не принадлежало Г. В. Маслову (оно в некоторых отношениях не очень похоже на другие его стихи), остается неизвестным. Ни о каком другом Маслове, писавшем стихи в то время, мы не знаем. Покойный В. А. Злобин, повидимому, считал это стихотворение принадлежащим Г. В. Маслову и в одном письме приводил мне по памяти первые четыре строки его (других он, по его словам, не помнил). На всякий случай мы даем его в примечаниях. Вот оно:

МАДРИГАЛ

Нет, не поверю я! Такое безобразье
Не может быть само: наверно рождена
Была ты мерзостной и беззаконной связью,
И брата и сестры здесь тайная вина.

*Архив Ленингр[адского] Управ[ления] МГБ был уничтожен осенью 1941 г., в самом начале блокады, так что все, сохранившееся в 1938 г., погибло через три года.

За впадины грудей, за острые колени,
За неподвижный взор, за выпуклость ушей
Должны разбойничать десятки поколений,
Насиловать старух и убивать детей.

Должно быть, предок твой, под старость разуверясь
В загробном торжестве и благости небес,
Днем проповедовал кощунственную ересь,
А ночью совершал обряды черных месс.

И вот из этой мглы, из пены ядовитой,
Затмив своим лицом насилья и порок,
Ты вышла на берег – вторая Афродита,
Прекрасного стебля достойнейший цветок.

Возможно, что в сибирских газетах и журналах были напечатаны и еще какие-то стихотворения Маслова, которые нам не удалось разыскать.

В составленную З. Н. Гиппиус антологию „88 стихотворений“ (П., 1917) было включено три стихотворения Г. В. Маслова. Одно из них („Урожай сберем хороший. . .“) вошло в „Арион“; одно („Не нам весеннее безумье. . .“) дано нами выше; третье же („Не к буйному безумству плоти. . .“) осталось нам неизвестно. К антологии З. Н. Гиппиус мы, к сожалению, не имели доступа.

Г. С.

Gleb Petrovich Struve.
Toward the History of Russian Poetry, 1910 - 1920.

First published 1979

Berkeley Slavic Specialties
P.O.Box 4605
Berkeley, California 94704 U.S.A.